

Дарья Лебедева

## ВЫЩЕРБИЧКА

### I. АПРЕЛЬ

*Над нами небо — то самое небо.  
Я играл в космонавта, я упал с антресолей.  
Я лгал тебе, мама, мне было так больно,  
так больно!  
Но ни словом об этом...*

Роман Шебалин

\* \* \*

Люба замешкалась — загляделась на мужчину. Вообще-то Люба была еще очень мала, чтобы заглядываться на мужчин, но этот привлек ее внимание своим немного жалким и одновременно величественным видом. Он спал, уткнув красный нос в объемную нечесаную бороду, его голубые веки вздрагивали. Троллейбус подъехал к конечной. Наконец, почувствовав, как мама тащит ее за руку, Люба встала и пошла к раскрытым дверям. Они вышли последними, а мужчина так и остался спать на сидении. Может, он умер, подумала Люба? Вспомнила, как дергались веки — наверное, все-таки жив.

Мама тащила ее за руку к метро — они шли со всеми вместе по диагональной дорожке через двор, но Люба, обернувшись, успела увидеть, как водитель равнодушно оглядел салон и закрыл двери троллейбуса. Бородатый дядька остался спать внутри. Водитель погасил свет и вышел. Тихий и темный, похожий на рогатого зверя, троллейбус тоже уснул. И Любе очень хотелось спать. Поздно. Неужели он останется там на всю ночь, думала она. Мама ругала ее за рассеянность и пыталась научить пользоваться жетончиком. Люба отвлеклась на красивый желто-зеленый пластмассовый диск, вроде монетки, только прозрачный и с буквой «М» посередине.

— Бросаешь его в щель, вот сюда, — говорила мама. Люба бросила жетончик в прорезь и прошла через железный турникет. Ничего не случилось. Зачем же тогда жетончик? Она хотела спросить об этом у мамы, но поняла, что та наверняка все уже объяснила, просто Люба прослушала. А дяденька? Вдруг он умрет там, в троллейбусе, ночью?

В пять тридцать в троллейбус на конечной зашел водитель, открывавший смену. В салоне спал бородатый грязноватый мужик. Приглядевшись, водитель узнал безобидного пьяницу Михаила из двора на второй остановке от конечной, из того большого сталинского дома. Завел мотор, подъехал к остановке. Людей не было. На второй остановке у арки Мишиного дома тоже никто не зашел — было еще рано, и в первый утренний рейс люди обычно садились только за мостом, а в Лефортове в это время народ еще спал. Водитель вышел из своего закутка, растолкал Михаила. Тот открыл глаза и с удивлением огляделся.

— Давай, вставай, приехали, — дергая его за плечо, сказал водитель. — Вылезай, иди домой, поспи там. Тебе на работу-то надо сегодня?

Михаил проворчал что-то невнятное, встал и двинулся к дверям. Уже сходя по ступенькам, обернулся к водителю и сказал с усилием, четко:

— Спасибо.

— Да не за что, друг, — ответил водитель, закрыл двери и, позвякивая тяжелой неуклюжей машиной, поехал дальше.

\* \* \*

Кажется, время идет очень тихо, так осторожно и неторопливо, словно старая женщина по коридору — шарк, шарк, шарк. Похожие дни — бесконечно длинные — капают в прошлое, кап, кап, кап. Вроде бы ничего не меняется, а ты становишься опытнее, мудрее и непреклоннее. Глаз фиксирует медленные перемены во дворе: новая машина на месте старых «Жигулей» Иваныча; соседская собака незаметно стареет, а потом и вовсе исчезает; сосед — блестящий школьник, студент, аспирант, ученый, гордость подъезда и двора — зарастает бородой, обрастает запахом перегара, алкоголя, грязной одежды. Новое поколение дворовых собак вырастает так быстро,

что через год их не отличить от родителей — и все зовут их прежними кличками, вынося им объедки. Что-то происходит, а ты этого совсем не замечаешь, пока однажды в подъезде не наткнешься на незнакомую девочку, девушку — вот она тащит мимо лифта велосипед и здоровается мимоходом: «Здрасьте, дядь-Виталь, здрасьте, теть-Марин».

«Это же Варя с пятого! — наваливается на Марину Владимировну с четвертого неожиданное и страшное знание. — Сколько же ей теперь лет?»

И она вспоминает, как встречала в этих же коридорах, на лестнице и в лифте беременную Соньку — молодую, счастливую, с мужем (а ведь теперь у нее другой муж, подмечает жестокая память, смиренно молчавшая прежде), как встречала в лифте Соньку с коляской, потом с крохотной девчушкой, которая только-только научилась ходить, только-только научилась говорить. Писклявила при встрече, почти как сегодня: «Здрасьте, теть-Марин». И все это время капали в чашу похожие дни, незаметно меняя жизнь. Меняя до неузнаваемости.

Марина Владимировна с четвертого этажа, пожилая учительница музыки, — смотрела в окно и видела все тот же двор. Пространство внутри их дома, стоявшего огромной вытянутой буквой «П»: свалка, лавочки с алкашами, футбольное поле, гаражи, детская площадка, за ней — в глубине — детский сад, и оттуда, словно сахар, сыплются малыши в розовых и желтых курточках, их ведут гулять в сквер. А я ведь помню Варю такой, думает Марина Владимировна, мне казалось, она до сих пор среди этих сахарных деток, а ее старший брат все еще играет с ребятами в футбол.

Марина Владимировна подсчитывает в уме: Варя — пятнадцать, Ване уже семнадцать, он заканчивает школу. Или даже учится в институте? Соседка поискала Ваню среди мальчишек, играющих в футбол: те спорили, визжали, кричали детскими, не сломавшимися еще голосами. Над их головами, будто живой, не касаясь земли, летал мяч. Ребятам было лет по десять-одиннадцать, а мимо футбольной площадки шел подтянутый и почти взрослый юноша — и в нем Марина Владимировна неожиданно для себя узнала Ваню, того самого брата всегда серьезной и молчаливой Вари.

Женщина отошла от окна и села за пианино — на нем аккуратными стопками лежали пожелтевшие ноты, стояла на кружевной салфетке ваза с искусственными фруктами. Марина Владимировна

открыла крышку и тронула пальцем «до» первой октавы. Как будто звук этой надежной и верной ноты мог остановить время.

\* \* \*

— Сколько хлама, просто склад ненужных вещей, — шипела мама, выкидывая из шкафов на пол рассыпавшиеся от времени альбомы, гербарии, тетради, ветхую, давно вышедшую из моды одежду. Сгруджала шкатулки, коробки и пакеты с украшениями, шарфами, лентами, манжетами, поясами. Недоуменно смотрела на перевязанные резинкой кирпичики открыток и календариков.

— Разберите завтра этот шкаф, ребята, — мама раздраженно пнула ногой старый дедушкин чемодан и вышла из комнаты.

Вещи образовали на полу причудливый ландшафт. Ваня сказал, что поможет завтра, а сегодня ему надо заниматься — он оканчивал школу и готовился к поступлению в университет. Варя закрыла за ним дверь и осталась наедине с бабушкиными вещами.

Темная комната с вечно задернутыми шторами излучала неяркий внутренний свет. Сияло все: старое пианино, на котором занималась сначала мама, потом Варя, дедушкин книжный шкаф, набитый книгами и журналами так туго, что попробуй достань с полки нужный томик. Сияла модель самолета, сияла гипсовая балерина, тихонько светились, будто неслышно хрустально смеялись, бокалы и чашки в серванте. Варя обожала эту комнату с младенчества, с того момента, когда впервые проползла по старенькому ковру и залезла на бабушкин и дедушкин выцветший диван у окна. Потом дедушка умер — Варе не было и шести лет. Но она всегда проводила здесь много времени. Когда Ваня вырос в грубоватого хмурого подростка, и делить с ним комнату стало непросто, Варя попросила у бабушки разрешения переехать к ней. Так они и жили вдвоем последние пять лет, пока бабушка не оставила Варю навсегда.

Она умерла в последний морозный день весны — вслед за бабушкой умерла зима. Похороны прошли в грязи последних мартовских дней. Серые кучки несаявшего снега укоризненно смотрели с обочин. Но за тем обжигающе холодным горьким днем прилетел другой ветер — он потеплел, повеселел и помчался по улицам, сдувая воду в лужах, сбрасывая снег в подножную грязь, расстегивая на прохожих

куртки. Город как будто порозовел от смущения и тепла. Двор заголосил, наполнился движением и ожиданием, потому что впереди, словно родное окошко в темную холодную ночь, маячило лето, манило запахом солнца, распахнутыми ставнями и светлыми вечерами. И, конечно, лето было лучшим временем, потому что Варя снова обрела крылья — так ей казалось. Она летела быстрее ветра мимо прохожих и тополей, киосков и домов — на своем верном велосипеде.

Но теперь Варя не хотелось весны, не хотелось испытывать счастья — а она знала, что не сможет не быть счастливой в день, когда растает последняя черная горка снега в низине, взлетит пыль с асфальта и можно будет распахнуть пальто, надеть старые кроссовки вместо тяжелых и слишком громоздких зимних ботинок. Как я смогу быть счастливой, если бабушки больше нет? — думала Варя. Почему бабушка не дожидала до этого времени, такого короткого и счастливого? Она бы и сама умерла счастливой! О, но можно ли умирая быть счастливой?

Варю одолевали, мучили, терзали вопросы, а тем временем таял последний снег, температура неуклонно ползла вверх, и никак нельзя было остановить весну. И сердце бешено билось, а шаг наоборот замедлялся, оттягивая возвращение в душную квартиру. Хотелось быть на воздухе. Распахивались окна — и оставались открытыми до самого вечера. Распахивались глаза — и сияли до ночи, пока не приходило время закрыть их на ночь. Это моя шестнадцатая весна, думала Варя. Но первых нескольких я совсем или почти не помню. Как мало их было! Пришла утешительная мысль — у бабушки весен было куда больше, чем у меня. И огорчительная — но у меня они еще будут, а нее больше нет.

Варя смотрела на вещи, беспардонно выкинутые из шкафа. Здесь была вся бабушкина жизнь, но без хозяйки они выглядели сиротливыми и покинутыми. Села на пол рядом с ними и начала внимательно рассматривать каждую связку, каждый пакет, каждую коробочку. Эти вещи казались ей волшебными — они были такими старыми, и с годами становились только прекраснее. Почему-то именно бабушкины вещи обладали способностью красиво стареть, приобретая со временем все больший шарм. Мамины вещи так не умели — они были хороши, только пока были новыми, а потом падали духом, выцветали и теряли себя. Варя подняла связку открыток, перетянутых резинкой. От прикосновения резинка лопнула и повисла мертвым

черным червяком. Варя читала открытки и улыбалась — бабушке посылали весточки ее ученики, родственники, друзья. Кого-то Варя знала, кто-то оставался для нее лишь почерком на твердой бумаге. В одну из открыток было вложено письмо, а в письме лежал засохший листик ясеня — с семью остренькими пальчиками. Варя боялась дотрагиваться до него — он выглядел хрупким, как пыль. Ей хотелось услышать бабушкин голос — она бы рассказала, кто и почему написал ей это письмо, почему вложил лист ясеня, ничуть не ценный для гербария. Рассказала бы, почему хранит его до сих пор — почему хранила всю жизнь. Но молчание вокруг было абсолютным и несомненным. За стенкой, наверное, в маминной комнате, бухтел телевизор, в ванной лилась вода, а здесь, в Вариной комнате, стояла унылая и полная тишина. И в этой тишине от бабушки остались только вещи. И воспоминания. Конечно, их разговоры все еще звучали у Вари в голове, и она пообещала себе никогда не выключать звук. Пусть бабушкина жизнь превратилась в высохший листик, заложенный между исписанных незнакомым почерком страниц, ее голос все еще звучит. Звучит. Звучит.

\* \* \*

Ваня не особенно любил и понимал сестру. Странная она какая-то. Молчунья, одевается в старье (Варя полюбила секонд-хенды, которые теперь на каждом углу, тогда как Ваня предпочитал новые вещи, придававшие ему солидность: рубашки, пиджаки). Сестра к тому же чуть что пропадает из дома, учится из рук вон плохо, как будто у нее нет ни одной завалящей способности хоть по какому-нибудь предмету, кроме физкультуры. А по русскому четверка, хотя она совсем не старается. Ваня учился старательно и оттого хорошо — он был послушным сыном, понимал и принимал мамины наставления и готовился к поступлению на юридический факультет. Юристы и экономисты нынче в почете, говорила мама, это обеспечит тебе хороший заработок и солидную должность. Мама вообще любила это слово — «солидный». Сама она еще недавно работала главным бухгалтером на государственном предприятии, но после развала Союза и развода с отцом создала небольшую аудиторскую фирму и теперь была генеральным директором. Ее новый муж был тихим и суровым

военным — он рано уходил, поздно приходил и с детьми почти не общался. Ваню — да и Варю, похоже, — это устраивало.

Вообще-то Ваня не был до конца честен с самим собой. Он не признавался себе, что страстно увлечен физикой. Что когда делает домашку по этому совсем не главному для будущего юриста предмету, то забывает обо всем на свете. Что с наслаждением читает учебник и с трудом избегает книжных полок в библиотеке, с которых прямо в душу заглядывают заголовки вроде «Качественные методы в квантовой теории» и «Физика пространства-времени». В тот день, когда он должен был помочь сестре разбирать бабушкины вещи, Ваня возвращался из школы очень медленно. Он получил пятерку по физике (на самом деле еще две пятерки — по математике и истории, на самом деле он нечасто получал четверки, а пятерки были привычными и почти не волновали). Но сегодняшняя пятерка по физике была необычной. Не за хорошо выполненное домашнее задание и не за блистательно решенные задачи в классе. Сегодня он решил задачу не так, как это обычно делают школьники, и учитель попросил его остаться ненадолго после уроков. В личном разговоре Владислав Тимофеевич вдруг сказал Ване, что мог бы подтянуть его для поступления в физический вуз: «Ты можешь выбрать МИФИ, если больше интересуешься теорией, или пойти в Бауманку, если хочешь заниматься прикладной наукой...»

Теперь Ваня шел домой и пытался сосредоточиться на том, что говорила мама. Союз развалился, инженеры и филологи никому не нужны. Заводы закрываются, наука никого не интересует. Чтобы выжить, надо иметь настоящую профессию. Быть бухгалтером, или юристом, или бизнесменом. Но слова учителя стучали в Ванино сердце как пепел Клааса в сердце Тиля Уленшпигеля (эту книжку как-то с упоением и восторгом читала Варя, и он прочитал следом за ней, чтобы хоть немного понять сестру). Не, кажется, там было про месть, подумал Ваня. Но слова стучали и стучали, как само сердце стучит, волнуясь. Он мог стать физиком — нищим, но счастливым. Почему-то он понял это вдруг, прямо сейчас, что мог бы стать счастливым. История, он же ненавидит историю, все эти люди, политики, даты, события, войны. Слишком зыбко и непонятно, слишком много человеческого и странного, как в сестре. Основы государства и права — главный экзамен, который ждет его всего через несколько месяцев — да что это такое вообще? Физика, хоть он и не позволял себе

думать об этом раньше, влекла его своей невероятной красотой. «Я мог бы стать физиком, — думал Ваня. — Но стану юристом, потому что этого хочет моя мама. Она ведь права. Надо зарабатывать деньги, а не мечтать, как Варя... Может, она и не мечтает даже, а просто порхает стрекозой, проживает жизнь, мчится на велике по парку и ни о чем, ни о чем не думает. Мама надеется на меня — на Варю и надеяться нечего, ясно, что ничего путного из нее не выйдет».

Так думал Ваня, ругая то себя, то сестру, то маму, то учителя, но твердо зная — его путь решен и определен. «Я ведь смогу читать книжки по физике для себя... Нет. Враки это все. Можно выбрать только что-то одно», — с этой решающей (уничтожающей) мыслью он вошел во двор. У подъезда на лавочке сидел дядя Миша-алкоголик из квартиры напротив. Он был не очень пьян сегодня, хотя и время было раннее — наверное, проснулся часа три назад.

— Мальчик, — обратился он к Ване. — Мальчик, сгоняй для меня в магазин, купи водочки и закуски, слышь?

Это не в первый раз, вспомнил Ваня. Вообще-то он часто меня об этом просит. Просто Ваня — вечно собранный и серьезный, настоящий будущий юрист — прежде проходил мимо, даже не взглянув на непонятное нетрезвое существо. Но сегодня ему не хотелось рано приходить домой, годился любой повод оттянуть разбор бабушкиных вещей.

— Давай бабло, дядь-Миш, схожу. Чего тебе взять? — Ваня не считал необходимым обращаться к пьянице на «вы». Ясно, что человек это конченный, а его, Ванина, жизнь только начиналась, и было так же кристально ясно, что впереди у молодого талантливое парня лишь успех и безоблачное небо.

\* \* \*

Они оплакивают людей — знакомых, бывших друзей, близких, живущих с ними в одной квартире. Кто-то похоронил нежную улыбчивую дочь, такую маленькую и славную — и теперь бережно хранит память о ней, глядя на мрачного подростка, комок нервов, в косухе и табачном дыму. Кто-то плачет о матери — красивой, заботливой, трудолюбивой оптимистке, которая превратилась в прикованную к креслу старуху в отдельной комнате, куда боятся заходить дети. Она



кричит оттуда не своим голосом, потом замолкает надолго, и в этот миг остаются лишь воспоминания и надежда... Но она не умирает, а продолжает жить. Годы и годы неподвижности. Мужчина лет сорока украдкой от жены достает иногда гитару и поет песни бывшего друга, выбравшего иные мечты вместо нот и слов — деньги и успех. Они больше не общаются, но стихи и образы вспоминаются то к одному, то к другому случаю — то бессонной ночью, то в миг, когда тень от распахнутой дверцы шкафа падает на немолодой паркет, и вдруг мозг пронизывает яркий свет и мелькает строчка, вьёвшаяся в кожу. И всколыхнется прошлое — драгоценное, сияющее золотом в глубине горечи, сожалений, утрат.

Они оплакивают тех, кто жив, — тех, кто ходит по земле, чем-то занят. Но для переживших потерю встретить их — все равно, что увидеть мертвеца. Таких встреч стараешься избегать, вычеркиваешь из жизни когда-то дорогих людей, оберегая память о них прежних — хранимые глубоко и надежно золотые воспоминания. Впрочем, разве избежишь встреч с дочерью, с матерью — вот и живешь, будто в мире мертвых.

А самое ужасное — обнаружить однажды среди таких оплаканных и вычеркнутых себя самого. Но есть и еще страшнее сказ — когда мертвым становишься сам для себя. Помнишь, каким ты был и не веришь, что был им. Настолько прошлое не похоже на настоящее. Но так бывает. Так может случиться с каждым.

\* \* \*

Ваня отдает дядь-Мише пакет, в нем пронзительно звякает. Дядь-Миша напрягается, все его лицо искривляется — Ване кажется, что сосед сейчас набросится на содержимое пакета, поэтому торопится отдать сдачу и слинять. Он уже ненавидит себя за то, что согласился сходить за выпивкой — нехорошо спаивать соседа, которого итак никто никогда не видел трезвым. Дядь-Миша, заметив Ванину торопливость, становится подозрительным и злым.

— Сколько ты мне купил? — спрашивает, раскрывая пакет.

— Три бутылки водки, — громко, как на уроке, отвечает Ваня.

Дядь-Миша ошпарено озирается вокруг, но на лестничной площадке никого нет.

— Тише ты, — шипит дядь-Миша на Ваню. — Давай сдачу.

Ваня вздыхает и ссыпает в Мишину грубую потрескавшуюся ладонь монеты и мятые бумажки.

— Почему так мало?

— Дядь-Миш, все подорожало, инфляция же. —

Дядь-Миша тяжело и долго смотрит на честнейшего Ваню, который протягивает ему еще один пакет:

— Тут еще батон хлеба и колбаса. Это я на свои купил, ничего не отдавай. А то ходишь весь худой и страшный, и пьешь не закусывая...

Дядь-Миша смотрит на второй пакет, который протягивает ему Ваня, и никак не хочет его взять. Откуда в эти времена и в этом подростковом-заучке взяться доброте? В такие приколы дядь-Миша давно не верит. Ваня протискивается через дядь-Мишино неустойчивое тело внутрь квартиры и ставит пакет в коридоре.

— Пока, дядь-Миш. Больше не проси, не хочу я в этом участвовать.

— В чем — в этом? — Все еще злобно, но уже спокойнее спрашивает сосед.

— Хочешь гробить себя — гробь, а я при чем.

\* \* \*

Варя сбежала с последних уроков, чтобы было больше времени на разбор бабушкиных вещей. Ей хотелось собрать и припрятать все самое ценное, пока не пришел из школы Ваня и с работы мама — они наверняка заставили бы Варю выбросить многое из того, что ей хотелось сохранить. Ваня опаздывал, и Варя тихо этому радовалась, хотя все равно торопилась. Она сходила в магазин за картонными коробками и теперь укладывала в них вещи на выброс: в основном изношенную в тряпье одежду, устаревшие учебники, по которым бабушка уже лет двадцать никого не учила, хрупкие гербарии и подшивки старых журналов. Их вообще-то было жаль, но мама однозначно попросила Варю избавиться от них — оставались еще книги, письма, альбомы с фотографиями. Все это надо было сохранить, но тоже упаковать в коробки и закинуть на антресоли. Старый бабушкин шкаф решили выбросить, поэтому пока все, что останется, Варя, убрав в коробки, выстраивала баррикадой вдоль книжного шкафа и

пианино. Коробки на выброс вытаскивала волоком в коридор — вечером их вынесут на помойку Ваня с отчимом.

Разбираясь в глубине бабушкиного шкафа, Варя нашла небольшую, но довольно тяжелую коробку — открыв ее, обнаружила там книги. Она была спрятана на полке за одеждой, как шкатулка с секретиком. Но почему эти книги не стоят в шкафу вместе с остальными? В этот момент хлопнула входная дверь. Изучать содержимое было некогда, и Варя просто положила ее к тем коробкам, которые должны были населить антресоли нового шкафа, когда его привезут, только запихнула во второй ряд, чтобы не бросалась в глаза.

Пришел Ваня, хмурый и неразговорчивый.

— Чем помочь? — спросил он, не глядя вокруг.

— Ничем, — ответила Варя. — Я уже все разобрала.

Ваня неохотно оглядел комнату.

— Давай я уложу оставшуюся бабушкину одежду, а ты начнешь выносить коробки на помойку? Когда придет дядь-Саша, вы вытащите шкаф, я его к этому времени освобожу.

— Хорошо... — Ване показалось, что Варя хочет выставить его из бабушкиной комнаты. Что ж, в этом их желания совпадали. Он быстро переоделся в своей комнате и вышел в коридор в старых джинсах и свитере. Поднимая первую коробку, увидел взгляд Вари — насмешливый? теплый?

— Чего зыришь? — Как же она достала, ничего в ней не поймешь...

— Тебе идет. Ходи так почаще. — И скрылась в бабушкиной комнате.

Как же, разбежалась. Сама ходит, как бомж, еще из меня оборванца хочет сделать, подумал Ваня, но почему-то улыбнулся.

\* \* \*

Последним из опустевшей комнаты на помойку выносили старый бабушкин шкаф. Это делали уже вечером, почти в темноте, все вместе: мама, дядь-Саша, Ваня и Варя. Следом за шкафом туда же отправились старые стулья и кровать, на которой спала бабушка. Хотели выкинуть и Варин диван, но она попросила подождать, пока не купят новый — спать-то надо на чем-то.

— Надо быстрее покупать ей диван, мам, а то она своим скрипит всю ночь, как привидение. Волосы дыбом.

— Какой ты трус.

— Заткнись, Варум, достала уже.

— Дети, не сходите с ума, — мама отряхивала пыль с колен. — Пойду, покурю там, на лавочке, а вы возвращайтесь в дом. На сегодня хватит.

И ушла с дядей Сашей на лавочку во дворе. Ваня развернулся и пошел в подъезд. А Варя застыла, глядя на руины шкафа, стульев и бабушкиной кровати. Как странно, думала она, может быть, эти вещи отправились вслед за бабушкой, и где-то там она сейчас посылает посылку. Распишитесь здесь. Вот ваша новая мебель. Бабушка молодая, в кудряшках, как было принято в сороковые, и шкаф с кроватью тоже молоденькие, еще пахнут древесной стружкой, как будто только что с мебельной фабрики. Надеюсь, так и есть, думала Варя и смотрела на помойку. И вдруг увидела, как старенькая женщина в выцветшем зеленом пальто, с лисьим воротником (их обычно хранили отдельно в коробке, берегли от моли и прикалывали к вороту в самых торжественных случаях) подошла к выброшенной мебели и начала ощупывать один из стульев. «Хорошая вещь, — ворчала она. — Зачем выбросили? Еще послужит». Варя уже собралась уходить, впечатленная нарисованной в воображении картиной, но образ рассыпался, а чужая бабушка в зеленом пальто казалась вестником иного мира, где старые остаются старыми, где рухлядь не воскресает.

— Иди отсюда, девочка, чего смотришь! — визгливый женский голос заорал прямо у Вари над ухом. — Уходи, говорю, чего встала!

Варя неуверенно тронулась с места и медленно побрела в сторону подъезда. Уже дойдя до двери, обернулась и увидела, как женщина вырывает из рук старушки трофейный стул — та скандалит и снова тянется к помойке, и... Дальше Варя ничего не видела, потому что оказалась в холодной тишине подъезда.

\* \* \*

Она всегда куда-то летела. Стремительно, быстро, отчаянно. Русые кудри развевались на ветру — даже если ветра не было, она создавала его своим движением. Он придерживал ее под локоть, сдерживал, не отпускал — а то она бы развила скорость, нащупала

подъемную силу и взлетела. Он-то в этом понимал. Он строил самолеты. А ей казалось странным, что все так не ходят. Не летают. Не создают ветер.

Он влюбился в нее еще в школе, но так и не решился подойти. Потом была война, но он не воевал. Он строил самолеты, и это было важнее, чем отдать свою жизнь на поле боя. Так его утешали товарищи, возвращавшиеся с ранениями и орденами. Все четыре года он работал в тылу и мучился из-за этого. Но ведь кто-то должен был строить самолеты, в самом деле.

Она работала учительницей. Дети, оставшиеся без отцов и матерей, задавали сложные вопросы, а ей приходилось отвечать и заодно рассказывать о правилах русского языка, сложении, вычитании, умножении, о городах Советского Союза и остальном мире. Больше всего она любила рассказывать о растениях, показывать гербарии, учить узнавать деревья и кусты по листочкам, цветам и ягодкам.

После войны они снова встретились. Больше не имело значения, что она красавица, а он неказист, что ему сложно выражать свои чувства, а у нее в женихах ходит почти вся улица. Все сладилось само собой, и они поженились. Она продолжала преподавать — уже только биологию, а он продолжал строить самолеты. Она все так же летела вперед, он был больше похож на твердое крепкое дерево, намертво вросшее в землю. Их совместная жизнь была такой долгой, но все же годы без него ей показались длиннее. *«В этом году порадовала нас погода, особенно октябрь и ноябрь. Очень теплое “бабье лето” перешло в длительно-солнечную золотую осень, редкий год такое выпадает. Мы с дедушкой старались ловить эти мгновения, гуляли в наших садах и парках, тебе знакомых, а деревья такие красивые, разноцветные...»* — писала она в письме внучатой племяннице. Это была их последняя осень, и выдалась она на славу. В начале декабря он ушел. Вдохнул и умер. Так ангелы умирают, сказал кто-то на похоронах. Какой же он ангел, подумала тогда бабушка. Ангелы легкие и незримые, их вовсе не существует. А он был большим, неповоротливым, прочным и очень земным.

Когда спустя десять лет уходила она — мучаясь, неподвижная, в присыпке от пролежней, когда кричала от боли, то думала лишь о том, что скоро встретится с ним. Она — атеистка, комсомолка, до конца верившая в светлые советские идеалы. Она верила, что даже если там, по ту сторону, нет ни Бога, ни черта, там обязательно дол-

жен быть ее дед. Надежный и молчаливый. Должен ждать ее там, как всю жизнь ждал. И хотя больше ее не будет держать ни тело, ни гравитация, он встретит ее и привычно придержит под локоть.

\* \* \*

Примерно полмесяца после смерти бабушки Варя молчала. В молчании прошли каникулы, и началась последняя четверть. Приходя из школы, выгребала из рюкзака учебники, переодевалась в старые джинсы, брала велик и укатывала до вечера. Уставшая и не улыбочивая, как всегда, возвращалась домой, ужинала и утыкалась носом в книгу. Сначала никто не заметил, что новое Варино молчание отличается от обычного ее молчания — она никогда не была разговорчива. Заметила это только сама Варя, и то не сразу. Однажды она почувствовала, что слова скопились огромной грудой внутри, переполнили ее и вот-вот вырвутся наружу — стоит неловко наехать колесом на кочку, и они сами вывалятся изо рта. Варя почувствовала, что больше не может удерживать их внутри. Надо было срочно выговориться. И Варя решила — поговорить с мамой.

В один из ясных апрельских дней, которым ни в коем случае нельзя верить, потому что за ними прилетает холодный ветер и даже снег, Варя пришла из школы и стала ждать. Она терпеливо дождалась маму с работы, подождала, пока та переоденется, отдохнет и усядется на кухне с чашкой чая. Варе казалось, что это будет нелегко и может даже не получиться с первой попытки — она очень давно не разговаривала с мамой. Но едва мама появилась на кухне, как из Вари посыпались слова. Она говорила, как сильно скучает по бабушке, как ей одиноко, как отчаянно она не знает, что делать со своей жизнью. Мама слушала, маленькими глотками отпивая горячий чай, и кивала, но жаркие живые слова осыпались мертвыми листьями, не проникая внутрь, не достигая сердца, не продвигаясь дальше маминых ушей. Но Варя, видя это, не могла уже остановиться и, погружаясь в черную тоску, продолжала говорить, пока слова не иссякли и не остались лежать на полу жухлой массой. Варя представила, как дворник сгребает их в кучу граблями, чтобы выкинуть или сжечь, и замолчала.

Бабушка слушала совсем иначе, чем мама. У бабушки как будто увеличивались глаза и разглаживались морщины, слова падали в

нее, как в книгу, и оставались внутри навсегда. Она все помнила, и жалела, и поддерживала, и возвращала слова посвежевшими, порозовевшими и повеселевшими. И сейчас, сидя на кухне с мамой, Варя чувствовала отсутствие бабушки так, будто это была дыра в груди — ей даже захотелось посмотреть, не капает ли кровь на футболку. Крови не было. Слов больше не было тоже. Еще оставался чай — и Варя поднесла чашку к губам. В этот момент заговорила мама.

— Варя, я понимаю, что ты очень любила бабушку, но старые люди умирают, а у тебя вся жизнь впереди. У тебя есть какие-то желания, мечты — кем ты хочешь стать?

Варя молчала.

— Тебе скоро шестнадцать, надо бы уже хоть что-то понимать о себе.

Молчание.

— Я записала тебя к репетитору по математике. Как вариант, если ты не захочешь стать спортсменкой, хотя пока это получается у тебя лучше всего.

— А как же литература? — вдруг нарушила молчание Варя. — Лучшее всего у меня с литературой.

Мама отмахнулась.

— Это не профессия, а приятное увлечение. Никто не мешает тебе читать книги, если ты станешь бухгалтером или знаменитой теннисисткой. Я вот пока не знаю, что лучше — теннис или легкая атлетика, но это ты сможешь решить немного позже, время еще есть. Подумай.

Варя подумала и поняла, что никем не хочет быть. Что хочет быть никем. И снова надолго замолчала, и слова опять начали скапливаться внутри, спрессовываться, и становились все тяжелее. Ей так хотелось поговорить с бабушкой.

\* \* \*

Под шинами велосипеда посвистывал асфальт — вжу, вжу — это успокаивало. Варя катила по полупустым улицам, врезаясь в сумрак и наматывая его на колеса. Теперь, если кто-то спрашивал у нее, кем она собирается стать, она так и отвечала: «Никем».

— Никем?

— Никем. Или пьяницей дядь-Мишей.

— Пьяницей Мишей?

— Ага, пьяницей, как дядь-Миша.

— Бред какой, как можно хотеть стать пьяницей? Что это вообще?

— А что? Буду пить, ругаться на всех и валяться дома на ковре в полном одиночестве. И никто не будет задавать мне вопрос, кем я хочу стать, потому что я уже не смогу никем стать.

Ей правда было все равно. Если честно, все дело было в бабушке. Вернее, в ее отсутствии. В том, что теперь она отсутствует постоянно. А если представить, что бабушка просто ненадолго уехала и написать ей письмо?

Ладно, окей. Варя резко затормозила на перекрестке. Красный. Ладно, сказала себе Варя. Если честно, пофиг на дядю Мишу. Мне просто безумно не хватает бабушки и ее историй.

Не дождавшись зеленого, Варя развернула велик и поехала обратно к дому. Дома нашелся чистый блокнот — удивительно, как много скапливается чистых блокнотов и как редко они используются по назначению. Первая запись в Варином блокноте была такой:

*«Слова — как засушенные цветы между книжных страниц. Как твои старые гербарии. Мама выкинула их все, не глядя. Зачем они? Только место занимают. А слова не занимают места. Я буду хранить слова. Я буду твоими глазами и буду рассказывать тебе все, что здесь происходит. Бабушка, мне так тебя не хватает».*

Несколько скупых фраз, куцых и непохожих на море, бушевавшее внутри. Она даже подумала, что не захочет еще раз сохранить слова, возникшие в сердце свободными и чистыми, — такими нелепыми и чужими выглядели они, перенесенные на бумагу, обретшие форму, смысл и звук. Но стало легче. Неожиданно стало легче.

\* \* \*

Дневник начинался с цитаты, выведенной старательным, почти детским почерком на отдельной странице: *«Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться рано или поздно». Константин Циолковский».*

Почерк был как будто не Варин, и, полистав толстую тетрадь, Ваня понял, что обнаружил нечто странное: дневник был заполнен формулами, схемами и короткими записями (почерк дальше стано-



вился небрежным, мелким и трудно читаемым, с каждой страницей он терял детскую округлость, заострялся и как будто устремлялся в будущее). Ваня открыл тетрадь на середине и попробовал разобрать слова. Некий человек писал о том, что намеревается построить большой космический корабль для освоения новых планет, как о том мечтали его кумиры Циолковский и Королев. Разрабатывал план космической станции. Доказывал существование инопланетян. В общем, на Ванин рациональный взгляд, бредил. Впрочем, спрятанное в рациональный вакуум романтическое сердце вдруг затрепыхалось, как птица, очнувшись в мешке.

— Что это за фигня? — раздраженно спросил Ваня у Вари, когда та вернулась. Как будто это он должен был испытывать раздражение оттого, что нашел не то, что искал, в ее вещах. Варя заботливо поставила велосипед в коридоре на его привычное место, стянула с ног кроссовки, а с плеч самодельный джинсовый рюкзак, у которого отовсюду торчали нитки, и молча ушла в свою комнату, которую прежде делила с бабушкой. Ваня настойчиво вошел за ней следом. Варя удивленно посмотрела на него.

— Так что это за хрень? — снова спросил Ваня, помахав перед Ваниным лицом тетрадью.

Она удивленно взяла тетрадь из Ваниных рук.

— Не знаю. А где ты это взял?

— У тебя в шкафу, дуреха! Там стояла коробка с кучей книг и этой вот тетрадью. Я думал, это твой дневник, хотел поржать, а там какой-то мужик непонятный пишет о космосе и цитирует Циолковского. Кто это хоть такой?

— Кто, Циолковский или мужик с космосом?

— Дура! — почему-то обиделся Ваня.

Варя помолчала, стягивая с себя потные носки.

— Фу! — добавил Ваня, не двигаясь с места. Варя поняла, что он все еще ждет ответа.

— Это бабушкина коробка. Нашла ее, когда разбирали вещи, и захотела сохранить на память. Видела, что там книги, подумала, наверное, какие-то особенные книги, раз в отдельной коробке лежат. Про тетрадь даже не знала, не разбирала еще, хотела этим позже заняться. А что там за книги лежат, ты посмотрел, любопытная Варвара?

— Это ты Варвара же! — опять напрягся Ваня.

— А ты любопытная... ный.

— Там Циолковский, Федоров, Вернадский. И еще какие-то книги по астрофизике и ракетостроению. И все, собственно. Думаешь, это бабушкины? Она же биологом была, а не физиком.

— Может, дедушкино? Он был авиаинженером, двигателя строил...

— Наверное... И дневник, что ли, дедушкин? Надо внимательнее прочитать, значит. Я дедушку почти не помню...

— А я совсем не помню...

— Я возьму почитать, ладно? Тебе вроде как не до этого сейчас...

— Конечно, возьми, расскажешь потом.

— Расскажу.

Они замолчали, но Ваня все не уходил к себе. Варя открыла шкаф и достала коробку с книгами. Перебрала их — имена на обложках мало что говорили ей. Циолковский, Вернадский — да, она немного о них слышала, это как-то связано с космосом. Сложные книги по физике. Еще в коробке лежала синяя книга с длинным названием «Творческое наследие академика Сергея Павловича Королева» — эту фамилию Варя знала хорошо, потому что он отправил в космос первый спутник и Юрия Гагарина. Она аккуратно сложила книги обратно в коробку, обернулась к Ване — он уже ушел. Подумала вдруг — мы же впервые нормально поговорили. Ну не то чтобы нормально... Но нет же, вполне хорошо поговорили. Вздохнув, Варя закрыла дверь, чтобы переодеться в домашнее.

\* \* \*

Темноты. В сумерках еще не так страшно, но когда наступает ночь и мама укладывает ее спать, она просит побыть недолго рядом. Иногда мама остается, и тогда дочь старается быстрее уснуть, потому что если не уснет — мама говорит — придет Бабай и утащит ее в окно, в темноту. Она знает, что там, за окном, днем — двор, детская площадка, лавочки и люди ходят. Но ночью там что-то другое. Там Бабай и злые люди. Иногда ночью ей становится жарко и хочется высунуть ногу из-под одеяла, но она знает, что нельзя. Все время представляет, как утром просыпается без ноги или без руки, поэтому заныривает под одеяло с головой, и чтобы оно тоже не свисало с кровати — тогда стащат вместе с одеялом и уволочут куда-то, куда-то туда.

Апельсиновых косточек. Что съест случайно, и они прорастут внутри. И из нее вырастет большое апельсиновое дерево. (Она никогда не видела апельсиновых деревьев. Ей кажется, они огромные, страшные, с корявыми узловатыми ветками). Мама любит апельсины, покупает их при любой возможности. Апельсины красивые и пахнут вкусно. Дочка просит маму покупать апельсины без косточек, но мама говорит, таких не бывает. Есть мандарины, но это совсем не то. Они тоже бывают с косточками — не угадаешь. Иногда девочка представляет себе, как это — быть корявым апельсиновым деревом — и думает, а может, ничего страшного в этом нет?

Соседку с нижнего этажа. Она приходит, когда они с братом играют. Говорит, сильно шумят. Она выглядит, как ведьма, как Баба-Яга. Когда девочка увидела ее в первый раз в их маленькой прихожей, заплакала — такая та была нездешняя. Так не похожа на людей. Известно, что там творится в ее квартире, прямо под ними. Наверняка там заколдованные комнаты, куда она заманивает детей и пожирает их тайком от родителей. Они с братом никогда с ней не заговаривают и в лифт с ней никогда не заходят. Лучше по лестнице вверх, говорят, мама говорит, так полезнее для здоровья, говорят. Однажды играли в мяч, и раздался звонок в дверь. Брат замер, а сестра сразу заревела — это она. Мама тоже занервничала, но пошла открывать дверь. А там бабушка — ключи забыла, когда в магазин ушла. Они с братом так обрадовались, опять начали мячом в стены и в пол колотить. И когда она, страшная, пришла, уже не боялись ее совсем. Почему-то с тех пор перестали бояться. Жалкая.

Оставаться наедине со своими куклами. Приходят мамини знакомые, все дарят куклы — а она их складывает, как будто чтобы играть в них. Обычно же девочки в куклы играют, а не боятся их. Куклы как живые, но не шевелятся и смотрят в одну точку. Она все время думает, что они как будто уже умерли, что мертвые так и выглядят. Так выглядел дедушка, когда провожали его — лежал в гробу красивый, молодой (а ведь был старый, когда умирал), кукольный — не шевелился. А у этих еще глаза открыты, они смотрят на нее как будто оттуда... Когда мама или брат рядом, она совсем их не боится — они же просто куклы. Но как только остается одна, и они смотрят куда-то внутрь или вдаль, не мигая, она ищет место, куда бы спрятаться. Не может до них дотронуться — вдруг они заберут ее туда, где дедушка, вдруг она станет одной из них.

Зеркальной двери в платяном шкафу. Днем любит смотреть туда — там все то же, но другое. И она сама другая. Там совершенно другой мир, очень похожий, но наоборотный, перевернутый. Днем не страшно, интересно. А ночью там появляется кто-то еще. Не отражается, а появляется и живет. Выходит из зеркала — вселяется в одежду, оставленную на стуле, или в тень от кресла. Ходит по комнате, а она прячется под одеяло. Долго не может уснуть. А потом наступает утро, и в зеркале снова все спокойно. И кажется, что так же, как здесь. Но она ведь знает — не так.

Когда мама долго не возвращается вечером домой. Дочь боится, что умерла. Теперь известно, что Бабай — просто выдумка, чтобы быстрее засыпать. Кукол мама отнесла на помойку или раздала знакомым. Соседка снизу недавно умерла, и теперь там живет сосед — молодой, красивый. Ухаживает за мамой, мама ведь одинокая. И мама часто теперь приходит поздно, очень поздно. А дочка сидит в темноте — не хочет зажигать свет — и смотрит вниз, во двор. Там тоже темно, и даже если горят фонари, ничего не видно. Ждет маму — когда она вернется. А вдруг не вернется.

\* \* \*

Вначале дневника было много цитат, чертежей и формул. Например, цитата из Сухово-Кобылина (об этом драматурге Ваня знал из кино — запомнил фамилию, потому что смешная, однако его удивило, что этот человек писал и о таких вещах тоже): *«Горизонтально летящий на велосипеде человек — это уже движущийся к форме ангельской, высший человек. Через изобретение этих машин горизонтального летания человек подвинулся к лику ангельскому или к идеальному человечеству. Всякому мыслящему существу понятно, что велосипед — это и суть те механические крылья, почин или зерно будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы теллурического мира и изойдет своими механическими изобретениями в окружающий его соляренный мир».*

Обязательно покажу Варе, этой бешеной велосипедистке, подумал Ваня и снова погрузился в малопонятное чтение.

Иногда попадались личные записи, довольно длинные:

«Мой путь к мечте с самого начала был прямым и спокойным. Когда мне было почти семь, вся страна радовалась полету в космос Юрия Гагарина. По телевизору постоянно показывали его лицо с легкой улыбкой, как будто он немного стеснялся своей славы и своей силы. Он был первым человеком, побывавшим за пределами Земли и вернувшимся, чтобы сказать — все возможно, космос открыт и ждет. В том же году осенью я пошел в школу, полный тоски по черным неизведанным пространствам, и, как только научился читать, стал поглощать фантастику, книги о космосе, о звездах, часто плохо понимая, что на самом деле там написано. Я был типичным мальчишкой, росшим в Советском Союзе и на вопрос: “Кем ты хочешь стать?” — отвечающим без запинки: “Космонавтом!” Потом в школе началась физика, и я увлекся ей так же сильно, как до этого космосом. Если в начальной школе у меня не было сомнений, что я пойду в летчики, чтобы потом стать таким же, как Гагарин (сколько же школьников мечтало об этом!), то с момента, как я открыл для себя физику, я вдруг понял, что надо становиться вовсе не летчиком. Что главная профессия на свете — инженер. Тем более она была столь же престижной в те годы, пусть и не столь романтической. Поэтому, когда я окончил школу, я без сомнений подал документы в Бауманское техническое училище — на самый дерзкий и самый знаменитый факультет ракетной техники. Я решил, что буду строить космические корабли. Будущее, когда сильные советские люди начнут высаживаться на других планетах, осваивать и заселять их, казалось близким, как девчонка за соседней партой. Мною гордились родители, во дворе говорили — вот наш Миша, аспирант Высшего технического училища, будущий Сергей Королев! И я всегда был уверен, что я один из тех гениев, которым Циолковский обещал бессмертие и славную роль в деле выхода человечества на уровень суперцивилизации. Я осаживаю себя иногда, понимая, что, наверное, немного увижу на своем веку, но уверенность, что однажды мы будем в космосе, освоим иные планеты, войдем в контакт с другими народами Вселенной, наполняет меня радостью. И да, я один из тех, кто вносит в это будущее свой вклад».

Ваня почувствовал, как его сердце длинно и долго подпрыгнуло в груди и так же медленно и сладко-мучительно опустилось. В отличие от Вари, он совсем не скучал по бабушке, потому что не особен-

но любил ее. Откуда в детях эта избирательность? Они не способны любить человека только потому, что это их родная кровь. Если честно, Ваня не стремился общаться с бабушкой, не принимал ее ласк и старался держаться на отдалении. Но сейчас, когда он прочел эту невероятную запись из чужого — возможно, дедушкиного — дневника, когда его сердце чуть не слетело с орбиты, он понял, что только бабушка могла бы ответить на его вопрос. Неужели инженер, в самом деле, — настолько солидная профессия? Значительная, приносящая уважение? И ему необязательно становиться юристом, как хочет мама, а можно пойти в технический вуз, как хочет — Ваня зажмурился и признался себе — как хочет он сам?

\* \* \*

— Чего пришел? — не слишком радушно спросила Варя.

Ваня успел заметить, что она спрятала что-то под подушку. Все-таки ведет дневник, я так и знал, подумал Ваня, но сейчас Варина тайная жизнь волновала его куда меньше тех вопросов, которые возникли по поводу неизвестно чьего дневника, найденного в бабушкиных вещах.

— Хотел спросить у бабушки...

— Своевременно!

— Ну... да. Но ты ведь с ней общалась, и она много тебе рассказывала...

— Ага.

— Так я хотел спросить у тебя, раз бабушки нет... Слушай, Варь. А ведь дед был инженером?

— Ага, строил двигатели для самолетов.

— А бабушка рассказывала о нем? Он был... ну... уважаемым человеком? Его профессия приносила ему... там...

— Радость? — Ехидно спросила Варя. — Конечно, о чем речь. Тебя ведь волнует только конкретика — зарплата, престиж или, как ты там любишь говорить, солидность?

Как ни странно, Ваня насуплено молчал и никуда не уходил, ожидая ответа на свой вопрос. Варя проглотила еще несколько грубостей и гадостей, замолчала и вопросительно посмотрела на брата.

— Ну, так да или нет?

— Да, — ответила сбитая с толку Варя. — Бабушка говорила, что дедушку все очень уважали. В те времена быть инженером было солиднее всего — самая лучшая профессия. Это были люди, которые меняли наше настоящее и будущее, говорила бабушка. И даже несколько высокомерно относились к остальным — как к тем, кто их обслуживает. Бабушка над этим посмеивалась, но все равно считала дедушку очень умным и талантливым. Он работал в бюро какого-то жутко известного человека, в его честь еще названы самолеты. Туполев, что ли.

— Потрясающе... — выдохнул Ваня.

— А еще! Вспомнила. Эту квартиру дали дедушке за хорошую службу. Он даже не стоял в очереди. А это очень хорошая квартира — ты же знаешь, мало у кого есть трешка.

Ваня стоял перед ней молчаливый, одновременно подавленный и как будто счастливый — Варя почувствовала в брате всю эту мешанину эмоций, и впервые в жизни он не казался ей холодным, грубым, излишне самоуверенным маменькиным сыночком.

— А что это ты вдруг дедушкой заинтересовался?

— Да так. — Ваня посмотрел на нее как-то иначе, чем обычно, не как на инопланетянку-неудачницу. — Варь, знаешь, на самом деле у меня есть один секрет.

— Ух, ты! Секрет! У тебя!

— Ну, хватит уже. Я однажды тебе расскажу.

— Расскажи, расскажи!

— Не сейчас, ты, вредина. Потом. В общем, это... спасибо.

\* \* \*

Велосипед Варе подарил папа. Когда-то (детство теперь казалось то ли сном, но ли выдумкой, то ли жизнью прошлой, то ли рассказом о жизни чужой) она безумно любила папу, папа был для нее бог, пример, идеал. Человек, полный строгой мудрости и нежной любви, всегда спокойный и точно знающий, что правильно, а что нет. Потом папа начал исчезать, пока не исчез совершенно, превратившись в чужого папу, чужого, не мамино, мужа, чужого, в общем-то, человека. И где-то на пороге своего исчезновения и преобразования он подарил Варе велосипед. В их доме не было грузового

лифта, и в тот первый раз папа сказал Варе идти вниз пешком, а сам вздыбил велосипед внутри маленькой кабины и с трудом втиснулся следом. У Вари так никогда не получалось — она предпочитала поднимать и спускать велик по лестнице. Всего-то пятый этаж. На последнем пролете перед их площадкой на одной из ступенек — выщербинка. На гладкой, вытертой до блеска ступеньке — выбитый неровный прямоугольник, щербатый и рыхлый, как будто от свежего хлеба отщипнули корку, обнажив мягкое неровное тесто. Ступенька с выщербинкой означала — ты почти на месте. И сразу становилось легко, Варя приподнимала велик и быстро втаскивала его наверх, останавливалась как раз напротив квартиры дяди Миши-пьяницы и переводила дыхание, потом отыскивала ключи в джинсовом рюкзаке, открывала тяжелую дверь и заводила велосипед в длинный коридор, как лошадь заводят в денник после тренировки. Варе иногда казалось, что велосипед вздыхал, прислоняясь рогами к стене, и засыпал до следующей прогулки.

Поставив велосипед, Варя снимала кроссовки и шла по коридору до конца в свою комнату. Теперь только свою — о том, что ее больше не ждет там бабушкина улыбка и ее мелодичный высокий голос (я, Варенька, могла бы стать певицей, если так сильно не полюбила растения, шутила бабушка), Варя старалась не вспоминать, пока не отворяла дверь. И только пустая комната с новым шкафом и новой кроватью развеивали туман, который Варя старалась подольше не отпускать. Она уже начинала привыкать жить без бабушки. Ей все больше нравилось иметь свою комнату. Она потихоньку переставляла предметы на полках и в серванте, раньше неизбежно стоявшие на своих местах. Меняла обстановку и атмосферу, пока, наконец, комната не превратилась в ее, только Варино, уютное убежище.

Пока Варя осваивала новое пространство, меняясь сама и меняя его, Ваней завладела тетрадь на 96 листов в обычной синей клеенчатой обложке — пожелтевшие листки шептали ему о том, что мечты могут сбыться, сбыться, сбыться... Он пока не решался заговорить об этом с мамой, но начал ходить на дополнительные занятия к физике и все меньше внимания уделял нелюбимой истории и пресному гражданскому праву. Он не удержался и спросил учителя, действительно ли быть инженером так почетно и выгодно? Владислав Тимофеевич рассмеялся:



— Раньше-то да, а теперь сплошь юристы, экономисты и воры. Особенно воры — эта профессия сейчас на высоте. Смех его был нерадостным, понял Ваня.

\* \* \*

Если живешь в большом московском дворе и остаешься при этом нормальным человеком (конечно, на самом деле, только кажется, что с твоей жизнью все в порядке, ведь если копнуть поглубже...), рано или поздно в голову закрадываются мысли о том, что неплохо бы «почистить» население — так много во дворе чудиков, пьяниц, невротиков и сумасшедших. Поэтому учение Циолковского произвело на аспиранта Бауманского высшего технического училища неизгладимое впечатление. Идея о том, чтобы «уничтожить зачатки примитивной или уродливо развивавшейся жизни», была очень привлекательна в свете многочисленных личных обид, терпимых аспирантом то от коллег, то от студентов, то от соседей. Больше всего талантливый молодой инженер Михаил ненавидел пьяниц, и виновата в этом была тетя Элла с четвертого этажа.

Тетя Элла была фарцовщицей, торговала тряпками из-за границы по спекулятивной цене, а заработанные деньги — подчистую — спускала на выпивку. Тетя Элла была замужем за одним из профессоров Бауманского института — бог знает, какая злая судьба свела когда-то этих двоих, совершенно разных людей. Профессор запирали ее в квартире, чтобы она не могла ходить в магазин, но тетя Элла выкручивалась — прятала запасные ключи у соседки, звонила ей и просила выпустить. От тети Эллы дурно пахло, она была уродливой и потной. Курила на лестнице пьяная. Почти ничего не соображала. Как-то раз она поймала на площадке подтянутого строгого Михаила и, покачиваясь, протянула ему купюру внушительного достоинства. Михаил с презрением собирался пройти мимо на свой этаж, но тетя Элла загородила ему дорогу и, запинаясь, выговорила и без слов понятную просьбу:

— Мишуля, я тебя помню вот такусеньким, — она попыталась избразить, но пошатнулась и схватилась на перила. — Купи своей тете Элле выпить. Пожалуйста. Купи с запасом.

Так началась странная история — аспирант Михаил, ненавидевший пьяных и прочих сброд, стал покупать выпивку для тети Эллы. По-

сколько тетья Элла не считала сдачу (а купюры всегда давала умопомрачительные), Михаил стал забирать себе почти все деньги, остававшиеся после «поручения». Заработанные таким образом средства он пускал в науку — собирал дома модели ракет и кораблей, покупал запчасти, новые книги по ракетостроению. Слепленный верой в свое высшее предназначение и в то, что будущее сотрет с лица Земли всех подобных тете Элле, он не испытывал ни сострадания, ни мук совести. Для чего живет на Земле такая вот тетья Элла? — думал он. Зачем коптит небо?

Но об этом ни слова не было сказано в его дневнике, который спустился двадцать лет читал Ваня.

\* \* \*

Варя толкнула дверь в Ванину комнату. Вообще-то она никогда не ходила к брату, и до бабушкиной смерти они общались крайне мало. Но небольшая коробка с загадочным содержимым вдруг стала поводом для общения. Варя продолжала понемногу изучать бабушкины вещи и нашла переписку с дедом. Ей хотелось поделиться с братом находкой — он ведь интересовался дедушкой в последнее время. Но дверь была заперта. Варя постучала.

— Да? — раздался напряженный голос брата.

Переодевается, что ли.

— Это я, — ответила Варя, не считая нужным представляться, как на приеме.

Сначала смолк бухтевший в комнате брата телик, затем протопали шаги, наконец, дверь открылась.

— Чего тебе?

— Так, нашла переписку бабушки и дедушки, подумала, тебе будет интересно. А что у тебя тут за тайны? — И Варя прошмыгнула в комнату раньше, чем Ваня успел ее остановить.

На экране телика застыло изображение: улыбчивый мужчина средних лет, видимо, в военной форме, впрочем, такой формы Варя никогда не видела. Антураж комнаты, в которой находился мужчина, подсказывал, что это некий фантастический фильм про будущее.

— Что это ты смотришь?

— Да так, дали посмотреть клевый сериал, ребята из физического кружка... Блин.

— Ты ходишь в физический кружок??

— Блин, — повторил Ваня, потому что это и была его главная тайна. — Ладно, я обещал тебе открыть свой секрет — так вот он, мой секрет. Я занимаюсь физикой. Только маме не говори.

— Блин, а зачем ты занимаешься физикой, если собираешься на юридический?

— Ладно, — Ваня сел на кровать. — Это не весь секрет. Но обещай, что не скажешь маме. Я сам ей должен сказать, когда буду уверен.

— Ну, ну?

— Я не собираюсь на юридический.

— Ооооо. Чего? А куда?

— На физтех. Или что-нибудь конструкторское. Самолеты там строить. Еще не решил...

— Так что вот почему ты спрашивал про дедушку! — почему-то возликовала Варя. — Держи письма, кстати.

— Спасибо.

— Так что ты там смотришь? Покажи, покажи.

— Сначала пообещай, что не скажешь маме.

— Да я с мамой почти не разговариваю.

Ваня посмотрел на сестру тяжелым взглядом — так что она поняла: он предельно серьезен.

— Обещаю. Я не скажу маме. Врубай видик.

Красивый военный ожил, но камера тут же переключилась на растрепанную блондинку в пиджаке.

— *Итак, командор, после произошедшего я должна задать вам тот же вопрос о космосе, что задает сейчас множество людей дома. Может, нам стоит от этого отступить, посчитать все это плохой идеей и озаботиться своими собственными проблемами?*

Командор широко улыбнулся в камеру и ответил:

— *Нет. Мы должны здесь остаться по очень простой причине. Спросите десять разных ученых об окружающей среде, контроле над населением, генетике — и вы получите десять различных ответов. Но с одной вещью все ученые на планете согласны: когда бы это ни случилось — через сто, тысячу или миллион лет — наше Солнце в итоге остынет и умрет. Но заберет с собой не только нас, но и Мерилин Монро, Лао-Цзы, Эйнштейна, Бадди Холли, Аристофана. Все это, все было впустую. Если только мы не устремимся к звездам...*

\* \* \*

Он жил на шестом, в первой комнате по коридору. Их квартира была коммунальной, и он все время ругался с бабой Шурой из комнаты поменьше, а стариков из комнаты побольше почти не видел, так тихо они жили. Был влюблен в мать-одиночку с восьмого — у той росла девятилетняя дочь. Таня, дочка, была зашуганной и странной девочкой, она совсем не улыбалась и только косилась испуганно на мать, когда та за руку волокла ее куда-то. Иногда с криками, иногда молча. Влад знал, что девочка любит животных. Он видел, как она смотрит на бродячих котов, которые, фыркая, убежали через гаражи в соседние дворы. Наблюдал, как она кормит дворовую собаку Машку, слабую после родов, и ухаживает за щенками. Видел ее в слезах — мама кричала на нее, что-то о шерсти в доме, о вони, о моче. А она смотрела на щеночка с гнутыми ушами, в пятнах, на его розовый носик, уткнувшийся в Машкин живот.

Все началось с того, что однажды он принес им хомяка. Купил на птичьем рынке как-то случайно, просто думал почему-то о Тане, а не о ее матери, думал, как Таня будет рада, но не подумал, в какой ярости будет Света. Позвонил в дверь. Светы не было дома. Таня подозрительно уставилась на него. Ах да, выпил ведь. Рожка красная, разит за версту. Попробовать стоит. Он протянул ей бело-синюю коробку из-под молока. Она удивленно взяла, заглянула внутрь. Увидела длинное рыжее тельце, розовый носик, подвижные усики, круглые ушки. Хомяк вылез из коробки и побежал по руке, обнюхивая ее. Таня онемела, ее глаза горели, щеки пылали. От счастья, понял он. Понял, что угадал. У хомяка попка с коротким хвостом раскачивалась туда-сюда, он был забавный и очень подвижный. Таня сказала робко «спасибо», закрыла за ним дверь.

Через день он принес клетку для хомяка. Дверь открыла Света. Накричала. Сказала, что хомяка больше нет и клетка не нужна. Таню после этого он долго не видел. Потом наткнулся на нее в глубине двора у гаражей. Там был холмик, она стояла рядом, бледная и тихая, как всегда. Но что-то изменилось в ней, как будто окончательно слетела пружина. Влад понял, что хомяка больше нет в самом прямом смысле слова, но не решился спросить, что произошло. За

Светой он больше не ухаживал, а Таню старался оберегать, как умел. Впрочем, он не умел. Он много пил и все хуже соображал.

Однажды Света увидела его с Таней на руках, он спускался по лестнице с чердака. Таня была без сознания. Света закричала и вызвала милицию.

Влада отправили в вытрезвитель, потом в дурку. Таня умерла через три дня, так и не придя в себя.

\* \* \*

Ваня шел из школы, мучимый вопросом, который хотел задать Варе, но забыл. Не то чтобы забыл задать — забыл сам вопрос. Он вертелся где-то на краешке сознания и раздражал, как тихий и непонятный неумолкающий звук. Определенно вопрос в его голове звучал, но Ваня никак не мог его расслышать. Чтобы отвлечься, Ваня начал придумывать машинку для чтения мыслей — но не чужих, а собственных, потому что если ты не можешь расслышать собственные мысли, рано думать о том, чтобы читать чужие. Он начал представлять, как эта машинка могла бы выглядеть, начал вспоминать что-то о волнах и ноосфере... и тут вспомнил. Кривая тропинка ассоциаций вывела его через ноосферу и Вернадского к дневнику неизвестного «космонавта», как Ваня его про себя окрестил. Ваня вспомнил, о чем хотел спросить.

Дело в том, что на страницах дневника было упомянуто имя автора, и это имя — точно не дедушкино.

— Деда Шура,— сказал на всякий случай Ваня вслух. Да, деда определенно был Шура. Мама — Софья Александровна. В дневнике же было написано — «Миша, наш будущий Сергей Королев». Но бабушка берегла его книги и тетрадь, значит, он как-то связан с бабушкой... Погибший молодой брат? Нет, этот Миша бабушке явно годился в сыновья. Внебрачный сын? Вот блин, тупые латиноамериканские сериалы все-таки начали проникать в мозг. Тьфу! Ване стало противно. Хотя, с другой стороны, сейчас он чувствовал себя капельку частным сыщиком, расследовавшим важное дело. Приятно. Тьфу, еще раз!

Когда он пришел домой, Вари уже не было, как и велосипеда в коридоре. Ваня вырвал листочек из тетради и старательно написал, как будто это был важный документ.

*Спросить у Варум, кто такой Миша.*

И положил листочек в учебник по физике. Мама его точно не откроем. Зато его точно откроет он сам.

\* \* \*

Варя смотрела на старую арену заброшенного стадиона — поле заросло травой, ворота с одной стороны были ржавыми и стояли криво, с другой вообще не было ворот. Этот стадион был довольно далеко от дома — заниматься теннисом Варя ходила на другой, находившийся ровно между домом и школой. Он не годился, если хотелось остаться одной, потому что ребята и, что хуже, девчонки из Вариней школы постоянно срезали там дорогу.

Варя ненавидела своих одноклассниц. Ненавидела — даже не слишком сильное слово... Однажды она пожаловалась на них отцу: на то, что они то игнорируют ее, то достают, то издеваются, доводя до слез. Папа ответил, что это ерунда и просто не надо обращать внимания. Так и сказал: «Просто не обращай внимания». Варя представила себя в классе, как будто одновременно в пятом, когда все это началось, и сейчас, в девятом, когда это стало настолько невыносимо, что... Она стала терпеливее. Или, скорее, отстранилась. Приходя на уроки, она запирала себя на замок и старалась ни о чем не думать. Именно поэтому ей в голову постоянно лезли мысли — совершенно посторонние, странные, как будто чужие. Стало легче, когда она догадалась записывать их иногда в блокнот. Но мыслей не стало меньше, она просто потихоньку училась с ними жить. И даже училась с ними учиться. Прежде учеба не клеилась — Варя постоянно схватывала тройки и даже двойки, отвлекалась, путалась. Некоторые учителя думали, что она неспособная, глуповатая (а девчонки так и дразнили: «тупая», и это было даже хуже, чем «Варум»). Но Варя знала, что она не тупая, что во многом она умнее других. Просто ее ум как-то иначе устроен, по-другому работает. Ваня тоже считал ее тупой. Мама ничего не говорила, но часто смотрела долгим и внимательным взглядом, а потом молчанием заменяла невысказанную фразу. Варя чувствовала ее скрытое, глухое разочарование, очищенное от раздражения и ожиданий, дистиллят безнадеги — от этого ребенка достижений не жди. Пусть

становится посредственной спортсменкой. Или плохим бухгалтером — хоть денег заработает.

Варя сидела на забытом всеми стадионе и остро чувствовала свое с ним родство — как он зарос травой и кустами, так ее душа была полна разросшихся сомнений, как здесь с сидений и оград облетела краска и проступила ржавчина, так и с Вариной души давно сошла радость и осталась только горечь.

Велосипед стоял рядом в проходе. На коленях лежал блокнот и фотография: маленький брат и она — еще меньше. Оба улыбаются в объектив: Ваня уже осмысленно, а она по-младенчески глупо. «Не зря меня прозвали Варум, — думала она. — Не в Анжелике дело. Я же все время задаю этот вопрос: себе, другим. Почему? Почему, почему, почему?»

Почему она ненавидит девчонок, а девчонки ненавидят ее? Почему, когда она была влюблена, как только и бывает в первый раз, он ходил на свидания с ее злейшей подругой, которой она по слабодушию помогала сочинять любовные письма и даже звонила ему домой, договариваясь о свидании — с той, не с ней? Почему когда она влюбилась во второй раз — в своего тренера по большому теннису, когда оставалась после занятий в его маленькой каморке в манеже, он рассказывал ей что-то и хвалил ее силу воли, но ни разу она не почувствовала себя с ним на равных? Он был ее кумиром, но по-настоящему понимал ее. С ним она могла говорить о чем угодно, и он никогда не сказал бы ей: «не обращай внимания». Но она была малышня, а он — взрослый, сильный и очень ответственный. Он бы никогда ничего не позволил себе, ведь ей всего пятнадцать.

Иногда любовь была так сильна, что у Вари ныло в груди. Почти так же, как при мысли о бабушке. Порой она начинала замечать, что от разных вещей, даже приятных, грудь сдавливает одинаково, только с разной силой. Боль одинаковая — даже от счастья.

Варя снова подумала об одноклассниках. Открыла блокнот и записала:

*«Сейчас мне спокойно. Хотя вопрос, куда себя деть, по-прежнему не решен. Может быть, и не надо его решать. Вокруг столько бессмысленных претензий, амбиций и гордыни. Не хочется этим заризиться. Надо сохранить внутри маленького ничтожного червячка, во всем сомневающегося, ни в чем не уверенного, ползущего наугад в неведомое будущее».*

Убрала блокнот, фотографию и ручку в рюкзак, который сшила сама из старых джинсов. Еще один предмет для издевательств. «Че, Варум, часто ты свой чемодан разбираешь?» В моде у девчонок сейчас были короткие стрижки и маленькие сумочки. У Вари был этот джинсовый нелепый рюкзак и длинные волосы, которые она иногда собирала в хвост. Они носили пиджаки и юбки, стараясь казаться взрослее. Она не вылезала из джинсов и мятых больших рубашек, которые добывала в секонд-хенде. Или коротких маек. Или — зимой — свитеров с горлом. Все это было отстоем с точки зрения одноклассниц. Варя вся была — ходячий отстой.

Она села на велик и неторопливо покатила домой. Начинало темнеть.

\* \* \*

Они сидели в комнате у Вани на подоконнике. Мама сегодня задерживалась на работе, а отчим смотрел телик в родительской комнате, но на всякий случай дверь была заперта.

— Слушь, ты читал детективы Иоанны Хмелевской про детей?

— Детективы про детей? Что за чушь?

— Не, там клево, там двое деток, брат и сестра, расследуют всякие заковыристые преступления, прямо как мы с тобой.

— Надеюсь, этот Миша не умер или умер естественной смертью. Еще не хватало расследовать убийство!

Варя засмеялась.

— Дурак. — И снова стала серьезной. — Давай еще раз внимательно посмотрим тетрадь. Ты ее всю прочитал?

— Да вроде всю.

Варя пролистывала тетрадь, медленно и осторожно переворачивая каждый лист, пока не дошла до места, где заканчивался текст.

— Смотри, здесь страницы вырваны.

— И правда. Интересно, что там было. А что перед ними написано?

— *«Завел попугая Кешу. Закончил аспирантуру. Защитился и получил корочку. Записываю, потому что ждал этих событий (кроме Кешу — это неожиданность) очень долго. Собираюсь дальше работать в Реутове и преподавать в Бауманке. Несмотря на некоторый разброд и шатания в нашей отрасли, все еще верю, что смогу что-то сделать. Есть идеи, есть проекты, есть силы.»*



— И дальше ничего нет?

— Несколько страниц вырвано. Но, может, там и не было ничего, просто бумага нужна была. Я часто вырываю из тетрадок.

— Я тоже.

Варя продолжала листать оставшиеся пустые страницы.

— Тут какие-то бумажки.

В тетрадь было вложено несколько читательских листков из библиотеки. Заполнены они были по всем правилам — чувствовалось, что человек относился к любым бумагам со всей серьезностью. В графе «Фамилия читателя» значилось: М.А. Лалетин.

— Какая-то знакомая фамилия... Не могу вспомнить...

Ваня и Варя надолго замолчали. В открытую форточку врывался ветер, уже потеплевший, с запахом набухающих почек. Варя думала о том, что у нее слишком хорошая память на незначительные вещи, а у их мамы странная привычка называть всех по фамилиям. Варя сразу вспомнила, чья эта фамилия — такая редкая и красивая, а Ваня пока отказывался поверить, но все-таки, все-таки необходимо было произнести это вслух.

— Это дядя-Миша-пьяница с нашего этажа, — твердо и тихо сказала Варя, и Ваня посмотрел на нее, как на убийцу своих надежд.

## II. МАЙ

— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.  
— Пью, — мрачно ответил пьяница.  
— Зачем?  
— Чтобы забыть.  
— О чем забыть? — спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.  
— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.  
— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.  
— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.

*Антуан де Сент-Экзюпери*

\* \* \*

Варя тогда была маленькая. Мама еще жила с папой. Вернее, папа тогда еще жил с ними, хотя все реже появлялся дома — отговаривался работой, ростом по службе. Он и правда рос и хорошел — из потертых джинсов и мятых рубашек переоделся в деловой костюм. Накупил галстуков и долго учился их завязывать, матерясь перед зеркалом тихонько, чтобы дочка не услышала. Покрасил свою старую «копейку», чтобы выглядела приличнее. Отрастил модные усы. И обрстая этими новыми свойствами, избавляясь от прежних, постепенно начал исчезать из их квартиры, из их семьи.

Поздним вечером раздался звонок в дверь. Папы не было, и Варя подумала — конечно, это он, он вернулся. Мама уже уложила ее спать. Сколько же ей было тогда лет? Кажется, это было в какой-то другой жизни, может быть, ей вообще несколько лет не было, просто приснилось. А снилось вот что: она лежит в своей кровати и не спит. Рядом кровать брата — он дрыхнет без задних ног, посапывая и иногда подрагивая, как кот. В коридоре звонок, мамины шаги, поворот замка, тихо шаркает открывающаяся дверь. Голоса — и одновременно по полу пробежала волна холодного воздуха.

— Сонь, слушай, в последний раз, обещаю... Нет у тебя, чем опохмелиться? Плохо очень.

— Миша, нет. Иди домой, спи.

— Очень плохо, Сонь, помоги. Вспомни, сколько всего с нами было, кто бы мог подумать, что ты станешь... такой...

— А ты таким. Иди, Миш, не мешай, у меня дети спят.

— А где твой Славка-то? Опять, небось, шляется?

— Хоть не пьет! Ты посмотри на себя, уже и человека в тебе не признать. Алкаш-бородаш.

— Ну, алкаш. Дай выпить, Сонь. Хоть глоток.

Наступила тишина. Варя прислушивалась изо всех сил и даже подумывала выглянуть тихонько в коридор, чтобы посмотреть, с кем это мама разговаривает... Но вдруг проснулась, и было уже утро, звонил будильник, с кухни доносился звон вилок и тарелок, пахло кофе и горячим сыром.

\* \* \*

Соня Иванова была самой красивой и умной девчонкой в школе. Из тех отличниц, у которых все получается само собой, им не приходится ни зубрить, ни тратить на учебу слишком много времени. Соня любила читать романы, которые таскала из родительского книжного шкафа, а самые волнующие книжки давала тайком прочитать подругам. Еще Соня любила гулять и веселиться, ходить в кино, танцевать и петь под гитару нежные старинные романсы. Впрочем, она вовсе не была романтической натурой — ее ум был острым, быстрым, практичным.

В Сою едва ли ни с начальной школы был влюблен отличник Миша Лалетин — сухой, серьезный, замкнутый. Он как будто сразу знал, какую выберет профессию и институт, тогда как большинство старшеклассников или грезили абстрактными мечтами, или даже примерно не знали, кто бы мог из них получиться — их больше интересовали свидания и первые шаги свободной взрослой жизни. Соня шла на золотую медаль, но тоже не имела представления, кем видит себя в будущем. Вечная проблема одаренного подростка, у которого отличные результаты по всем предметам, но ни к одному из них нет ни любви, ни хотя бы интереса. Ей даже не снилась та страсть, которую Миша питал к физике.

Миша и Соня учились в разных классах, зато жили в одном доме, подъезде и даже на одном этаже. Миша ухаживал за Соней осто-

рожно, но настойчиво — каждый день заходил за ней, нес до школы портфель, осторожно поправлял съехавшую с ее плеча ляжку черного фартука. Слушал ее истории — о прочитанных книгах или весело проведенном времени в компании подруг. Миша больше молчал, чем говорил, но слушал Соню очень внимательно и с каждым днем, открывая в ней все больше недостатков и новых достоинств, влюблялся сильнее.

На выпускной они пришли парой и продолжали встречаться, уже учась в институтах — он в Бауманке, она на журфаке МГУ. Все изменилось, когда на втором курсе Соня устроилась корреспондентом в газету, перевелась на вечернее отделение и с головой ушла в новую жизнь. Миша в том же году ушел в армию.

Однажды, после возвращения из армии, Миша выглянул в окно и увидел свадьбу — машины в лентах и цветах, свидетели в белых перевязях, нарядные гости. Из подъезда вышла невеста в прямом платье цвета шампанского. Миша увидел вышивку на груди и короткие рукава-колокольчики. Короткие волосы были завиты и уложены, и хотя лица не было видно, у Миши защемило сердце.

После окончания третьего курса Соня уехала с подругами отдыхать в Крым — впервые без родителей и не под крыло к бабушке в деревню. В небольшом уютном Планерском отдыхали спортивного вида юноши — планеристы, начинающие летчики, серфингисты. Тем удивительнее для Сони оказалось встретить вовсе не спортсмена, а поэта, впрочем, вполне атлетического сложения. Ярослав уже состоял в Союзе писателей и собирался стать знаменитым, как Евтущенко, — на меньшее он был не согласен. Три недели прогулок под луной по берегу моря вдруг разбудили в Соне дремавшего до сей поры романтика, и свойственная ей практическая жилка на время умолкла. Ярослав не был москвичом, поэтому, когда он приехал навестить Соню в столице, она впустила его в свою квартиру, из которой он уехал только через двенадцать лет, оставив бывшую жену с двумя детьми. Писать стихи Слава бросил почти сразу после рождения детей. Он нашел в Москве работу, сделал карьеру и, скопив денег, съехал из временного пристанища, в качестве которого рассматривал брак с Соней. Скоро он уже снимал квартиру, к детям и жене возвращаться не собирался. Миша Лалетин, в которого Соня когда-то так крепко и надежно была влюблена, к этому времени уже стал алкоголиком, работавшим на небольшом окладе инженером в

сомнительной фирмочке. Дети росли отстраненными и замкнутыми. Слава снова женился на женщине помоложе и побогаче. У Вари и Вани родилась сводная сестра.

В этом мире не существует любви, уверовала Соня, ни к человеку, ни к профессии, поэтому выбирать надо только умом, не сердцем. Второй Сонин муж был человеком тихим, не слишком амбициозным. Не пил. Нормально относился к детям, но не особенно их любил. С ним было спокойно. Немного скучно, но он не давил. Она больше не чувствовала себя школьницей, как это было со Славой. Теперь она была в семье главной, и ей это нравилось. Ей казалось, что все под контролем. Ей важно было выбрать для детей хорошие профессии, чтобы они не потерялись, не растерялись, не дай бог не спились (она не могла выкинуть из головы Мишину печальную судьбу). Союз развалился, и Соня своим острым глазом видела в этом как недостатки, так и возможности. Ее не беспокоило, что их семья не была даже похожа на семью — каждый сам по себе. Время сейчас такое, утишала в себе Соня поднимавшуюся ни с того, ни с сего тревогу. Просто такое время.

\* \* \*

Ваня вернулся домой и сразу увидел в коридоре Варю — она сидела на низкой тумбе, на которой стоял телефон, и разговаривала с кем-то. С одной стороны сверху на Варю свешивались еще не убранные зимние шубы и пальто, с другой стоял книжный стеллаж с полками до потолка. Ваня замечал, как иногда, вслушиваясь в чей-то длинный монолог с той стороны, Варя брала с полки книгу или журнал и начинала листать. Если монолог не прерывался, сестра могла с головой погрузиться в чтение и обнаружить потом лежащую рядом трубку, из которой возмущенно вырывались короткие гудки.

Сейчас Варя была поглощена разговором и на книги внимания не обращала. Ваня старался как можно медленнее раздеваться и развязывать шнурки. Наконец услышал Варин голос:

— Хорошо! Да! Да, заезжай в пятницу вечером, я буду дома.

И повесила трубку. У нее был какой-то глупо-счастливый вид. Мальчик что ли?

— И кто это был? — спросил Ваня насмешливо. — Поклонник позвал тебя на свидание?

Варя не покраснела и не обиделась — значит, не угадал.

— Это папа. Предлагает провести на даче майские праздники. Я сказала, чтобы заехал за нами в пятницу. Это на целую неделю, представляешь, как хорошо? Ну, придется пару дней в школе пропустить, но, думаю, мама все уладит. Круто, да?

Теперь не угадала Варя — Ваня насунился и бросил в угол рюкзак.

— Что не так? — Варя вглядывалась в его нахмуренное лицо.

— Не поеду я к нему. Тем более на неделю. У него там ребенок теперь, ты в курсе?

— В курсе. И что? У нас есть сестра. Это ж круто.

— Не думаю. Думаю, мы для него теперь в прошлом.

— Зачем же он нас позвал? — удивилась Варя.

— Не знаю. Совесть мучает? Или хочет похвастаться своей новой классной жизнью, пока мы тут бродим среди развалин.

— Развалин чего?

— Семьи.

Ваня поднял сумку и ушел в свою комнату. Варя хотела что-то еще сказать ему вслед, но не стала. Только подумала, как же сильно изменился Ваня с тех пор, как полюбил физику. Она не знала, что, ответив взаимностью на старую любовь, он вдруг многое понял. Хотя бы о том, что вообще такое любовь. Чего, по его мнению, понятия не имел их с Варей отец. Ваня больше не называл отца «папой», даже про себя. Тем более, вслух. Это был человек, которого он собирался вычеркнуть из своей жизни. Он пока не знал, что это невозможно. Или, по крайней мере, очень трудно.

\* \* \*

Варя собрала небольшую дорожную сумку и загодя встала у окна на кухне — из ее комнаты окно выходило на улицу, а папа наверняка припаркует машину во дворе. Мама отреагировала равнодушно как на решение Вари уехать на неделю к папе на дачу, так и на решение Вани остаться дома и учиться. Ваня попросил так и передать отцу — у него выпускные экзамены, а следом вступительные. Ему надо много учиться. Пусть не обижается.

Папа не обиделся. Когда Варя вышла с сумкой к машине и хотела его обнять, он отстранился и сначала открыл для Вари багажник, как

будто сумка была непреодолимым препятствием для проявления чувств. Когда вещи были пристроены, у Вари уже не было желания обниматься, поэтому она залезла на переднее сидение и пристегнулась. Папа сказал, что сейчас они поедут за Инной (так звали новую папину жену), Тоней (так звали тетя-Иннину дочку) и маленькой Зоей (так называли дочку папы и Инны, и Варя изо всех сил старалась думать о ней, как о родной сестре).

Пока Варя и папа были в машине одни, Варя чувствовала себя прекрасно. Она рассказывала папе о прогулках на велике — ведь это он его подарил, об учебе, о том, что мама хочет сделать из нее не то бухгалтера, не то экономиста, а Варе это совсем не интересно. Папа кивал, улыбался, что-то комментировал, и Варя чувствовала себя все более уверенно. Пока они не доехали до нового папиного дома. Варя бывала здесь раньше и не любила это место. Эту квартиру. Эту мебель — безвкусную и слишком новую. Глянцевые шкафы из ДСП. Всюду искусственные цветы и покупные разноцветные салфетки. Картинки и фотографии на каждой стене — тоже пестрые и разнокалиберные. Поэтому Варя сказала, что в этот раз подождет в машине.

Ждать пришлось долго, но Варя никогда не скучала наедине с собой. Она достала из рюкзака блокнот и записала:

*«Может быть, все будет хорошо? Каждую ночь мне снится, что я еду на лифте. Захожу в подъезд, вызываю лифт, почему-то долго-долго жду его, как будто сон дает мне возможность передумать. В обычной жизни я вообще никогда не жду лифта и даже не вызываю его. Сразу иду пешком. Но во сне ожидание лифта растягивается на-бесконечное-долго. Наконец, лифт приезжает, я захожу в него и нажимаю на пятый этаж. Но лифт всегда проезжает пятый этаж и поднимается очень высоко. Так высоко, как невозможно подняться в нашем доме. Я каждый раз, как будто впервые, жду, чтобы лифт остановился, чтобы выйти из него и спуститься на свой пятый этаж пешком. И тут лифт начинает падать. Просыпаюсь каждый раз от удара и еще долго не могу уснуть. Но, может быть, все будет хорошо? Это ведь всего лишь сон».*

Потом долго смотрела в окно на этот чужой и странный двор. Кроме новостроя, в котором жили Инна с детьми, здесь прямоугольником стояли хрущевки, казавшиеся хрупкими и неказистыми по сравнению с их огромным сталинским домом. Все заросло березами и кустами, внутри виднелись детские площадки с качелями, давно

не крашеной «паутинкой» и лавочками. Варя начала вспоминать все московские дворы, в которых она когда-либо бывала — не так уж много. Все они были чем-то похожи, но и отличались друг от друга. Из них складывалась Москва, родной и слишком большой город. Это было удивительно. И Варя уже собиралась написать и об этом тоже, но из подъезда вышла тетя Инна с малышкой на руках, за ней — Тоня, одетая во что-то кричащее и, наверное, модное, а следом папа с двумя большими сумками в руках. Варя убрала блокнот в рюкзак и вылезла из машины, чтобы поздороваться.

Тетя Инна чмокнула ее в щеку и стала расспрашивать, как в школе, как вообще. Она всегда старалась быть дружелюбной и этим нравилась Варе, несмотря на познакомившие их обстоятельства. Тоня тоже поздоровалась и тут же проскочила на переднее сиденье, с которого встала Варя.

— Эй! — крикнула Варя. — Здесь я сажу. Я старше!

И посмотрела на папу, ища в нем поддержки. Папа отвел взгляд и двинулся к багажнику, чтобы убрать вещи. Варя обернулась к Тоне — та уже пристегнулась и надувала огромный розовый пузырь из жвачки.

— Вылезай, Тоня, здесь мое место! — Варе казалось, что она сейчас заплачет.

Тоня лопнула пузырь и со свистом втянула жвачку обратно в рот. На Варю она не обращала внимания.

Тетя Инна уже села на заднее сиденье и была вся поглощена заботой о ребенке. Варя вдруг поняла, что на даче у папы будет не так уж и весело. Целую неделю. Огромную длинную неделю. С Тоней.

\* \* \*

Папа привез всех с дачи домой к тете Инне, и Варе пришлось провести там еще один день. Потом оказалось, что у папы уже нет времени и сил, чтобы садиться за руль. Варя тоже чувствовала, что у нее не осталось сил на Тоню и всю эту семью. Она чувствовала себя уставшей и озлобленной. Она сказала папе, что поедет домой прямо сегодня, на метро. Уже поздно, — возразила тетя Инна. Папа пожал плечами. Тоня закрылась в своей комнате — там же ночевала и Варя, когда приезжала к ним, и всегда чувствовала себя, как солдат в плену. В ее рас-



поряжении была раскладушка и собственный рюкзак с вещами, которые даже некуда было выложить. Она ненавидела этот пестрый дом, полный безвкусных и бесполезных вещей. Тетя Инна старалась быть с Варей ласковой и доброй. Покупала ей вещи. Розовые, ярко-зеленые, желтые, в цветочек и абстрактный рисунок, все эти футболки, юбки и шорты. Варя говорила «спасибо», послушно привозила домой и, не глядя, убирала с глаз долой, в самое дальнее отделение шкафа. Выбросить подарки она не решалась, но и надеть это не могла. Она знала, что эти вещи стоили намного дороже рубашек и свитеров, которые она сама покупала в секонд-хендах, и жалела потраченные деньги. Она бы отдала все это Тоне — ведь Тоня одевалась именно так, но как, если тетя Инна покупала эти вещи для Вари?

Неделя, проведенная на даче, действительно тянулась бесконечно. Варя ушла с головой в чтение и плеер (папа подарил ей плеер, и он пришелся как нельзя кстати). Иногда она пыталась заводить с папой разговор о прочитанных книгах и прослушанных кассетах, но папа считал все это ерундой и не слушал. Единственное, что увлекало Варю на даче, — это маленькая Зоя. Она была чудо какая хорошенькая и искренне тянулась к сводной сестре. Тоню малышка не переносила, и та злилась почему-то на Варю. Жаловалась папе, что Варя все делает не так. Что Варя ничего не делает, не помогает никому, а только читает. Что Варя злая и обзывается.

Варя действительно однажды не смогла сдержаться и сказала Тоне что-то грубое при папе. Папа не стал разбираться, кто прав, кто виноват, и впервые в жизни влепил Варе пощечину — болезненную не столько физически, сколько по факту. Вместе с этим ударом на Варю обрушилось понимание, что, во-первых, Ваня был прав, во-вторых, папа ушел и больше не вернется, в-третьих, она здесь чудовищно, безнадежно, вопиюще лишняя, и как она этого раньше не поняла? Она успела увидеть Тонину злую и удовлетворенную улыбку, гнев и тень страха на папином лице — он украдкой оглянулся на отца Инны, который видел все это. Это была его дача, Инна была дочерью богатого бизнесмена, а папа был иногородний выскочка, которого отец Инны явно не одобрял. Варя позволила себе нечто непозволительное, обругав Тоню при авторитетном дедушке.

«Больше меня сюда не позовут», — поняла она. И все оставшиеся дни она старалась думать только о Зое. Укачивала ее, пела ей песни,

читала книжки. Утешалась ею — маленькой и еще не знавшей, куда она попала.

Когда Варя ехала домой на метро — через всю Москву, длинный путь, похожий на приключение, — она еще раз подумала о Зое, о своей жалости к ней. И поняла, что жалеет не Зою, а себя. Варя увидела в отце чужого человека, не имеющего никакого отношения к ее жизни. Но проблема была в том, что именно он дал ей жизнь, впустил в этот пугающий мир и бросил на полпути, оставил саму справляться с пустотой, с собой, с ежедневно поднимающей бунт реальностью, с невыносимой усталостью и тоской, захватывающими внезапно, без осады, без объявления войны, вдруг.

Варя думала о людях, ближе которых не было никого, но и они казались далекими и холодными, как звезды — их тепло не касалось ее, долетал только тусклый свет формальных отношений. Мама была загипнотизирована работой, делами, бытом, она плыла, как рыба, в своем собственном странном море, добывая деньги, обустроивая дом, покупая новые вещи, не теряя при этом измученного своего лица, неся его гордо, как флаг. Вот брат, уже взрослый, обросший собственными делами, как ракушками, но все же ищущий собственную раковину, в которой он мог бы укрыться от хаоса настоящего. Такой глупый и ничего о себе не знающий, но уже деловой, занятой — для брата Варя существовала как помеха, как недоразумение, как заноза. Ладно, я несправедлива к нему, подумала Варя. Но я не очень-то ему нужна, вот в чем дело. А вот папа — нет, отец. «Папа» он теперь для нового маленького существа, с которым, как и с новой женой, начинает все сначала, потому что мама и Варя его ожиданий не оправдали. Отец — словно творец, забравший творение и оставивший это живое и чувствующее нечто жить дальше как-нибудь без него.

И Варя жила. Со своим никому не нужным талантом видеть иначе, со своими фантазиями, в которых фонари были похожи на ландыши, склонившие головы друг к другу, а раскрытые книги — на птиц. Она смотрела из окна на машины, плывущие в дождь по серебряной реке, освещая влажное пространство долгим светом. Ночь казалась Варя иным местом, в которое попадали люди на исходе дня: там небо было заклеено изнутри черной бумагой, в которой иногда появлялись дырочки. Через дырочки сочился тусклый свет. Себя Варя представляла песчинкой, которую ветер несет и швыряет, и то бросает кому-то в

лицо, то шваркает о край бордюра, то уносит в небо, неприкаянную, малосенькую, но все-таки частицу мира — не нужную даже самым близким, но нужную этому безликому огромному ветру, чтобы он мог чувствовать свою силу и власть. Даже ветру жизни, даже ночи с ее пугающей чернотой Варя была нужнее, чем отцу.

\* \* \*

В Москве встречаются дома настолько большие, что кажутся больше самого города — потому что заменяют собой целый город. Расположенный вытянутой буквой «П» вдоль дороги, этот дом, словно раковинной, закрывал собою длинный двор, вмещавший огороженный детский сад, открытую детскую площадку (там редко встретишь малышня, чаще взрослых с пивом), заброшенные ржавые гаражи (мальчишки сигали с них, доказывая девчонкам храбрость), футбольное поле с вечно рваным забором из рабицы, мусорные баки, заросший тополями и яблонями скверик со скамейками и множество потайных уголков. Для детей, выросших в этом дворе, он становился целым миром, который можно было исследовать бесконечно долго, находить в нем приключения, друзей и врагов. Конечно, до тех пор, пока не наступала взрослая жизнь, — и тогда дети упархивали из двора-мира бабочками — в поисках других дворов и двориков, в которых собирались непременно обрести счастье. Детям этого двора казалось, что стать счастливыми здесь — невозможно. Они росли с полоумной Олей непонятного возраста, видели, как старушки из соседних квартир роются в мусорных баках и тащат оттуда доски, фанеры, старые стулья. Согнутые годами бабушки несут и несут с помоек потрепанные временем вещи — дети видят это и обещают себе, что у них все будет только новое, нетронутое, нетраченное, и сами они никогда не станут этими гнутыми горбатыми старухами и высохшими облезлыми стариками. Детям не верится, что их жизнь тоже может закончиться так — тускло, бедно, что они тоже станут невнятные теними, искажающими счастливую жизнь своих детей и внуков.

Дети слышат обрывки фраз. Смирненное от женщины лет пятидесяти: «Он привез меня сюда, думал выбиться в люди, да так и работает уборщиком на заводе по утрам, а в школе — по вечерам. Что делать. Остается только доживать». Истерика доносится из кварти-

ры сверху — в ванной почему-то отчетливо слышно каждое слово, поэтому каждое утро чьи-то визги, вопли и слезы льются вместе с водой, оседают на чистой намыленной коже: «Я себя тебе отдала, я с тобой себя потеряла! Полностью себя потеряла с тобой!» Дети видят и слышат то, от чего оберегают их родители, выключая телевизор. Но в телевизоре фальшивая кровь, а по двору ходят сломанные люди — настоящие и все еще живые, хотя бы внешне. Девушка Света вышла замуж в восемнадцать, уходила от мужа, возвращалась к мужу, ходила в церковь, ходила в рюмочную — ничего не помогло. Сейчас Свете тридцать, и она родила от цыгана. Цыган приличный, одевается в джинсы и свитера, здоровается с соседями, но с ребенком возится только Света, одна только Света, а еще она кормит цыгана и просит его не курить травку прямо во дворе, есть же кухня, неужели нельзя не делать этого при всех. Светин муж живет через подъезд, работает в соседнем доме, в отделении милиции, носит форму и каменное лицо. Постоянно штрафует и забирает в обезьянник цыган, ненавидит их, говорят, даже бьет и только потом отпускает, но Светино цыгана не трогает, и все говорят — какое благородство. Но дети видят другое, видят не то, видят то, чего видеть не положено. Чувствуют. И мечтают уехать. Стать другими, затянуть этот мир черной бумагой навсегда и придумать другой, лучше.

Несколько лет назад Варя, молчаливый хрупкий ребенок из пятого подъезда с пятого этажа, видела еще кое-что: из квартиры их соседа, пьяницы дяди Миши, уезжала жена — робкая, слезливая тетя Ляля. С Лялей долго беседовала Мишина мама, приехавшая их навестить, потом Варина мама Соня, в которую Миша когда-то был влюблен. Разговоры не помогли. Ляля медленно выносила из Мишиной квартиры старенький чемодан, Мишина мама договаривалась с ней о машине, чтобы забрать остальные вещи. Ляля кивала и тихонько плакала, чтобы никто не заметил. Все замечали, молчали, жалели Лялю и дядю Мишу — знали, что теперь он запьет, как никогда, что это начало конца. Жалели и Лялю — вот уж она натерпелась, говорили, с ним натерпелась — хорошо, хоть детей не завели...

А если бы завели, вспоминала Варя, думала и смотрела на дядю Мишу украдкой, пока он, пошатываясь, шел мимо — совершенно одинокий, ни матери уже, ни жены. Он бы ни за что не бросил ребенка. Заботился бы, думала Варя. Ни за что бы не оставил. Пил бы горько, падал бы, вот как сейчас, доводил бы тетя-Лялю до слез, но

ни за что не оставил бы малыша. Он добрый, дядь-Миша, хоть и пьяный все время. И по утрам не злой, хотя ему плохо очень. Всегда здоровается и смотрит тоскливо-тоскливо. А мой папа всегда был злой, хотя и не пил почти. Ругал за любую мелочь. Воспитывал занудно, говорил, хочу сделать из тебя человека. Бросай, говорил, книги читать, надо делом заниматься, а не читать. Профессию выбирай такую, чтобы деньги приносила. Маму наоборот ругал за то, что она работает, вместо того, чтобы дома сидеть, ужины готовить, детей воспитывать. Его обижала мамина самостоятельность.

Неужели я так сильно его любила? Считала мудрым, восхищалась выдержкой. Может, у него просто нет души, испуганно думала Варя, робея перед строгим призраком отца. Папа ушел, когда Варе было девять. Варя задумалась и посчитала — шесть лет назад. С тех пор мама вышла замуж второй раз, папа снова женился, а Варина жизнь напоминала лоскутное одеяло. Но было теперь и кое-что хорошее, чего при папе не было. Свобода. Варя записала в дневнике:

*«Иногда мне кажется, что у нас вообще нет родителей. Ваня не согласился бы со мной, но я чувствую себя — вернее, нас обоих — отдельными неприкаянными человечками. Мама не знает, что Ваня уже месяц не ходит на подготовительные курсы на юрфак. Даже глядя на девчонок в школе, хотя это очень плохой пример, я понимаю, что ни с одной из их мам этот номер бы не прошел. Я вообще не знаю, чем себя занять. Папа больше не имеет к нам отношения. Мама считает себя сознательной и не лезет в нашу с Ваней жизнь. Только иногда пытается наставить нас на путь истинный в будущем, но что касается настоящего — тут полный провал. Ничего. Как будто “не лезть” означает в том числе вообще ни о чем не разговаривать. Мне так не хватает длинных-предлинных разговоров — хоть с кем, хоть о чем».*

\* \* \*

Это было горько. Не обидно, не больно, не глупо, а просто очень горько, как вкус натерпевшегося бед огурца. Ваня почти поверил в себя, в физику и в то, что сможет бороться с ужасным временем, в котором ему довелось жить, в котором выживают только юристы, бухгалтеры и воры. Он видел усмешку Владислава Тимофеевича, слы-

шал мамин голос и вспоминал спитое бугристое лицо дяди Миши. Может, все-таки это не его дневник? Ну, конечно, непонятно почему торжествовал какой-то новый внутренний голос, с которым прежде Ваня был незнаком. Как будто в этом дворе живет сотня Михайлов Лалетиных, выбирай, какой тебе подходит больше в качестве образца для подражания. К сожалению, он здесь только один, в квартире напротив — одинокий и вечно пьяный. Даже попугая заморил.

Ваня вспомнил, что у дяди Миши действительно был попугай, который иногда жил у них, пока сосед был в отъезде, и который потом умер. Вспомнил последнюю запись в дневнике, прочитанную вслух Варей: «Завел попугая». Какие уж тут сомнения.

Когда закончились уроки, Ваня не пошел в физический кружок. Его новые друзья вдруг показались ему далекими от реальности фантазерами — так папа называл всех поэтов, художников, теоретиков и вообще тех, кто не умел зарабатывать деньги и устраиваться в жизни. Впрочем, папа и сам не особенно преуспел, хотя постоянно горел новыми проектами, идеями и перспективными начинаниями, которые вот-вот должны были сделать его богатым и знаменитым. Ваня с еще большим неудовольствием, чем физиков из кружка, вспомнил отца — он не очень понимал, за что его обожала Варя. Деспот и тиран, подумал Ваня, накручивая себя, как будто ему было мало свежего разочарования и надо было подбавить хорошо просушенных старых дров в новый костер. И фантазер покруче всех физиков и лириков, вместе взятых.

Ваня пнул ногой камешек и вошел с яркой и шумной улицы в тихий затененный двор. На детской площадке за столиком сидели трое мужчин и пили. В одном из них даже издалека Ваня признал дядю Мишу. Горечь разлилась по всему телу и на мгновение как будто парализовала его. Мимо, не заметив брата, пронеслась на велике Варя — она уже вернулась из школы и успела зайти домой. У нее за спиной болтался сшитый ею из кусочков джинсы рюкзак, а собранные резинкой светлые волосы напоминали летящий хвост кометы.

Дома, переодевшись и пообедав, Ваня впервые за несколько недель открыл учебник по гражданскому праву и, преодолевая скуку и тоску, начал читать.

\* \* \*

Скажем, это была не первая его такая ночь и не первое подобное утро. Но в тот день что-то переломилось окончательно — доцент Бауманского института с большим будущим в советской науке перестал существовать и начал медленно, но необратимо превращаться в дядю Мишу, алкоголика нашего двора. Дело в том, что и советская наука больше не существовала, и Бауманский институт превращался во что-то иное, и сам Михаил больше не видел ни звезд, ни будущего. А главное, космос больше никого не интересовал. Космос был слишком далек и пуст, а здесь и сейчас, на этой горестной земле, рождались и умирали фирмы, наживались и проматывались огромные состояния, и все гналось куда-то в иное будущее, пусть не светлое, но хотя бы сытое и богатое.

Михаил проснулся поздно — пыльная квартира книжного червя, упорного физика, была залита светом первого весеннего солнца. В лужах света плавали шкаф и книжные полки, стол и опрокинутый табурет. Рядом с табуретом, упираясь в него, лежала пустая бутылка из-под водки. Едва взглянув на нее, Миша разлепил слипшиеся от дурного сна глаза и понял, что ему срочно необходимо выпить. Чего-то легкого, светлого и успокаивающего. Пошатываясь, Миша добрел до ванной, умылся, осмотрелся и увидел, что все еще одет, покормил попугая и поспешил в киоск на углу рядом с домом. И только устроившись на лавочке у подъезда с бутылочкой холодного пива, понял, как сейчас выглядит. Рабочий день в институте вовсе — наверняка он пропустил какие-то пары. Хотя, господи, какой вообще сегодня день? Миша понял вдруг, что его это совершенно не волнует, возможно, впервые в жизни. Пиво и солнышко — вот и все, что нужно для счастья.

Мимо шли люди и смотрели на его грязные штаны, мятую рубашку, всклокоченные волосы, небритость. Узнавали — и лица их растягивало удивление: это же Миша, занудный правильный Миша! Где костюм, где спесь, где ненависть к алкоголю и алкоголикам? А Миша улыбался и смотрел вокруг — на двор, на припаркованные кое-как машины, на пустое футбольное поле. Скоро закончатся уроки, и оно наполнится криками и смачными ударами по мячу. Слабоумная Оля качалась на качелях и что-то громко пела, прерываясь на свои вечные жалобы. Она совсем не материлась и не умела, поэтому другие марги-

налы двора никак не могли найти с ней общий язык. Она была жутко одинока и тянулась к детям. Дети отвечали взаимностью, но только тайком — родители (буквально все родители всех детей во дворе) запрещали им общаться с «ненормальной». Но дети все равно таскали Оле конфеты и булки, рассказывали школьные новости и даже иногда играли с ней в фантики. Никто не знал, сколько ей лет — вела она себя, как пятилетня, выглядела на сорок. Никто не ведал, где жила, потому что выглядела так, будто бомжевала, но спящей ночью на улице или в подъезде ее никто не видел. Оля была как сорняк, который невозможно выполоть, нежный и глупый василек нашего двора. Миша смотрел на нее и думал о том, как же он раньше завидовал ей — ее бездумной и бесцельной жизни. Но сейчас он превращался во что-то похожее: прогуливал работу, не передевался со вчерашнего дня, голова потрескивала от похмелья, но он потягивал пиво, смотрел в небо, жмурился от яркого света и был свободен и легок.

Начали возвращаться школьники. У Миши заканчивалось пиво, хотелось есть.

— Эй, малец! — окликнул он какого-то мальчишку лет двенадцати. — Слышь, пионер?

Паренек поглядел на него без осуждения, по-деловому. Миша понял, что сладится.

— Сгоняй мне за пивом и, слышь, купи еще хлеба белого и грамм двести «докторской». Вот те денег, только сдачу принеси.

Школьник взял деньги, посмотрел на них внимательно, но не ушел.

— Чего стоишь, беги скорее!

— А на кой я бегать буду, если даже сдачу оставить нельзя?

Наверное, в пионеры тебя взяли по ошибке, подумал Миша. Впрочем, недолго им осталось, пионерам. Скоро их засосет и смоеет, как смыло советскую науку. Миша вспомнил, как обманывал соседку-пьяницу тетю Эллу, таская у нее сдачу, которая часто была вдвое больше суммы покупки, — Элла была спекулянткой, и у нее редко водились мелкие купюры. Недоверие к пацану, желавшему забрать сдачу, и желание выпить и поесть, не поднимаясь с места, боролись в Мише недолго.

— Ладно, сдача твоя. Только давай быстрее шагай.

День наливался золотым яблоком, а люди, истосковавшиеся по солнцу и теплу, заполняли двор движением, голосами, улыбками. Добродушная соседка с шестого, спускаясь гулять со своей лохма-



той Чаппи неведомой породы, поздоровалась и прошла, не заметив неладного. Куда менее доброжелательная Марина Владимировна, училка, покосилась на Мишу и бутылку пива в его руке и буркнула: «Чего не на работе, Михаил?» Миша лишь кивнул ей, мол, иди куда шла, и большим глотком допил потеплевшую жидкость. Соседки тут же позабылись и больше его не волновали, волновало одно: догадается ли горе-пионер принести холодненькое?

Догадался, слава богу.

\* \* \*

Бабушка тогда стояла у окна — она любила смотреть в окно, хотя вид мало изменился за все эти годы. Окно ее комнаты выходило на улицу, но в тот день она смотрела во двор из окна на кухне — в него заглядывал огромный тополь и залетали дворовые запахи и звуки. Бабушка в тот день смотрела вниз и видела, как молодой, спивающийся, но все еще красивый доцент Бауманского института Миша, трезвый и мрачный, вышел из подъезда с небольшой коробкой. Кряхтя, отнес ее к помойке — видать, коробка была тяжелая, хоть и маленькая. Дошел до мусорных баков и бросил ее рядом. Просто разжал руки, и коробка упала — бросил ее как будто от злости, а не от тяжести, как будто тяжесть, заключенная в коробке, лежала на самом деле у него на сердце.

Бабушка спустилась во двор, когда услышала, как хлопнула дверь в квартире напротив — Мишина дверь. Подошла к помойке, заглянула в брошенную коробку. Там лежали книги. Все те книги, которые он так тщательно, настойчиво собирал с последних классов школы, когда решил посвятить свою жизнь космосу и звездолетам. Наверное, здесь самое ценное, подумала тогда бабушка. Самое-самое, с чем так же тяжело расстаться, как с собственным сердцем. Наверняка дома у него осталось еще много книг — у Миши, у его семьи, всегда было много книг. Так же стоит на полках библиотека приключений, многотомные собрания сочинений классиков, но все самое любимое сегодня здесь — ненужное, как стал не нужен сам Миша, его мечты, его стремление к звездам. В тот момент, стоя у помойки, бабушка оглядела двор и увидела, как сильно на самом деле все изменилось. Как сильно изменился маленький мир, в котором

она прожила большую часть жизни — в котором Миша прожил всю свою жизнь. Ему ведь нет и сорока, подумала тогда бабушка.

— Сынок, — кликнула она какого-то солидного мужчину в костюме. — Помоги коробку донести. Вон в тот подъезд.

\* \* \*

*«Зачем человеку жить на земле, — писал в дневнике дядя Миша, — если он не оставляет после себя что-то полезное, если его жизнь проходит зря?»* Ване сложно было представить более бестолковую и напрасную жизнь, чем у дяди Миши. Он продолжал перечитывать хорошо знакомые записи, не веря, что автор вдохновляющих слов — всего лишь их сосед-алкоголик.

Однажды Ваня позвонил в негостеприимную Мишину дверь — им двигало не столько недоверие и желание опровергнуть ужасное открытие, сколько невыносимость этой мысли: как кто-то настолько талантливый и дерзкий, полный энергии и веры в будущее, мог превратиться в дядю Мишу-пьяницу. Это правда, подсказывало ему сердце, уже немного узнавшее жизнь. Так и есть. Так бывает. Так может случиться с каждым.

Долго молчали. Дядя Миша растерянно держал в руках старую тетрадку в синей обложке. Потом так же молча подошел к письменному столу, порылся в ящиках, вынул какие-то листки.

\* \* \*

Что было написано на страницах, вырванных из дневника:

1

*«Кешка опять напился и мешал мне работать. Хватал листочки с расчетами и грыз их, раскидывал по всей комнате. Возмущенно чирикал — наверное, душу мне по пьяни изливал. Летал по комнате, закладывал кривые виражи. Нагадил на книжку из институтской библиотеки. Он у меня становится настоящим пьянчужкой. Вечно так — куплю себе портвейну, чтобы рассла-*

биться вечером, — он тут как тут. Пока в портвейне не испу-  
пается и не нажрется как свинья, мне и руку не даст к стакану  
поднести — шипит, кусается, сердится».

## 2

«Работаю в последнее время, чтобы не думать. Как начинаю ду-  
мать, так достаю портвейн, и мы с Кешей вдвоем напиваемся —  
он мне о своих горестях рассказывает, я ему о своих. Он, наверное,  
жалуется на тяготы женского алкоголизма, потому что Кеша  
мой — на самом деле девочка. Хотя я продолжаю этот факт игно-  
рировать и считать Кешу своим боевым товарищем. Женщины от  
меня сбегают — вон Ляля ушла, мама все время на даче проводит.  
Вдруг и Кеша улетит, если поймет, что он — тоже женщина. Я же  
ему рассказываю о мерзостях, которые творятся на нашем про-  
изводстве и в институте, где все еще зачем-то преподаю. О воров-  
стве, о том, что маме угрожают и требуют денег — за возмож-  
ность держать этот малюсенький жалкий киоск на рынке. О том,  
что в институте вижу пожилых профессоров, инженеров — непри-  
каянных и подавленных. Они все еще рассказывают студентам о  
космосе, кораблях и Королеве, хотя глаза у аудитории загораются  
только при слове «деньги». Открыли экономический факультет —  
в Бауманке-то, в ракетном нашем училище. Думал, тут же и за-  
кроют, что за ерунда — так нет, конкурс уже десять человек на  
место. Закрывать надо СМ, потому что кому теперь нужны раке-  
ты, кто захочет сегодня думать о будущем, об огромной Вселенной,  
когда надо бороться, отдавая кровь, пот и слезы, за место метр на  
полтора на Лефортовском рынке. Будущее исчезает, как неудоб-  
ный миф. Всем нужно все и желательно прямо сейчас. Плевать, что  
получают чаще ничего или пулю в лоб. Разве не глупо в таких об-  
стоятельствах продолжать делать расчеты, не имеющие отно-  
шения к реальности? Инженеры теперь пишут в стол, как раньше  
писатели. С той разницей, что наши рукописи не ксерят и по ночам  
под подушкой не читают. Иногда думаю — как я дышу еще, почему  
не перестал. Воздух не идет в глотку, как еда, когда нет аппети-  
та. Сидишь над своей жизнью, как над тарелкой супа, и понимаешь,  
что ни ложечки проглотить не сможешь. Не сможешь заставить  
себя жить дальше. В итоге откупориваешь портвейн».

3

*«Все чаще хочется выбросить книги».*

4

*«Узнал, что сестра вышла замуж. Даже не позвонила мне. Не позвала на свадьбу. Ей кто-то сказал — он теперь сильно пьет, ты пожалейшь. Испортит тебе праздник. А когда-то мне казалось, что нет у меня никого ближе нее. Шутили, мол, мы так друг другу подходим, нам вместе так хорошо, что если я и женюсь, то только на ней. Надеюсь, ее муж от этой жизни не запьет, как я, и праздник ей не испортит».*

5

*«Кеша умер. Меня вытерли из института. Мама в больнице, ее киоск отобрали — теперь там вместо цветов кассеты с попсой. Отлично. Нашел место в экспедиции на север, инженером. Уезжаю на полгода, но деньги заплатят хорошие. И уеду. Какая теперь разница».*

\* \* \*

Бывает, выпадает на человечесью долю темное время, не оставляющее ни надежды, ни даже веры, что однажды все наладится, переменится к лучшему. Самое сложное — не дать себе смириться, когда все смирились, и не сойти при этом с ума. Это все равно, что продолжать верить в какую-нибудь глупость, когда давно доказано, что это чушь, ерунда, бредни. Сначала ты перестаешь об этом говорить с другими людьми — просто чтобы не вызывать подозрений и избежать споров или (чаще) оскорбительных комментариев. Потом принимаешь к сведению чуждую тебе идею, постепенно находишь в ней рациональное зерно,жимаешь плечами и смиряешься где-то в глубине, все еще не признавая себе в этом. А в один прекрасный день просто капитулируешь, выпускаешь в город вражеские войска и признаешь чужое законодательство. Лишь бы прекратилась эта тягостная изоляция, лишь бы сняли осаду.

Миша не сдался. Просто спился. Слова «деньги» и «бизнес» вызвали в нем жжение, как от кислоты, оставляли шрамы. Он потерял надежду на лучшее и веру в то, что делал всю свою жизнь, но ничего не приобрел взамен — чужая идеология так и осталась чужой.

Бывает, люди меняются до неузнаваемости, отказываются от всего, что прежде составляло смысл жизни, беспомощно оглядываясь в прошлое, видят там кого-то другого, кто прежде занимал их место — или чье место занимают они сейчас. Меняются ли люди на самом деле или однажды на месте звездного света появляется черная дыра — от усталости, лжи, одиночества, непонимания — и забирает в небытие все, что было дорого, что держало на плаву? И, если коллапс произошел, нет никакой возможности, ни единого шанса остановить эту черноту, которая поселилась внутри и поглощает все — интересы, принципы, достижения, минуты счастья, сначала сложные, потом простые чувства — пока не остается ни капельки света, пока человек не обнаруживает, что полностью, абсолютно исчез, и осталась лишь пустота.

Миша не узнал себя однажды весной. Он очнулся очередным утром, мучимый похмельем — и только похмельем, заросший, проспиртованный, смирившийся. Самые дорогие сердцу книги отнес на помойку — последний романтический жест. Оставшуюся библиотеку начал потихоньку продавать и пропивать, когда вышли деньги, заработанные в экспедиции. Занимал то тут, то там, брал у матери — она снова открыла на рынке маленькую палатку и продавала там цветы с дачи. Все теперь было потеряно — космос, наука, будущее, даже этот чертов попугай. Остался только безотраднейший сегодняшний день и вечер в пятнах забвения.

Он стал одним из этих опустившихся людишек, похожих, словно близнецы. Их когда-то разные, у кого-то даже красивые лица опухли, покраснели, надулись, по ним проложили трассы огромные морщины, а под глазами синели мешки. Черты лица увеличились и размазались, как в кривом зеркале. Они ходили шаткой походкой с наклоном вперед, как будто у них не было больше цели. В принципе, так и было — в их жизни оставалась одна-единственная цель — выпить, но больше не было никакого направления.

Миша не думал, что они сильно проигрывали остальным (остальные тоже пили, просто оставаясь в рамках приличий и семей). Он прекрасно видел, что все превратились в охотников за призрачными

сокровищами, за сладким здесь и сейчас. Что космос сжался до размеров сейфа, стоимость человеческой жизни рассчитывалась заново каждый день, исходя из текущего курса доллара в ближайшем обменнике — и согласно этому курсу Мишина жизнь не стоила и зеленого стеклышка от разбитой винной бутылки.

Иногда, когда Миша вспоминал, кем он был раньше, он вдруг задавался вопросом, на который уже никогда не узнать ответа. Почему спилась богатая фарцовщица тетя Элла? Что за мечта была у нее и кто ее растоптал?

\* \* \*

Варя выбежала из комнаты, как только услышала хлопнувшую входную дверь.

— Ну?

— Что ну?

— Ты с ним поговорил?

Ваня кивнул.

— И что он сказал? Объяснил, как так вышло, что он был... что он стал...

— Ну, знаешь, он сказал, что мы живем в сложное время...

— Ну, знаешь, любое время, в которое ты лично живешь — для тебя и есть самое сложное. Это не повод спиваться.

Ваня очень удивился. Он же всегда считал сестру дурочкой, которая только и умеет гонять на велике и бегать быстрее всех в школе. Откуда вдруг столько мудрости?

— Ну, да... Ты права. А он вот спился. Не повезло.

— Ты не передумал становиться инженером? Только из-за того, что дядь-Миша не справился с трудностями, ведь да?

Варя смотрела на него так, будто от его ответа сейчас зависело все. Так в фильмах смотрит человек, к виску которого приставлен пистолет, и он судорожно придумывает, какие слова сейчас могут спасти ему жизнь. Вообще-то Ваня почти передумал. Но увидев Варин взгляд, вдруг понял, что это важно не только для нее (блин, а почему собственно для нее это так важно?), но и для него. Он представил учебник по гражданскому праву — скучный и какой-то отчаянно ненастоящий, а рядом — учебник по физике, полный прекрасных истин и завораживающих загадок...

— Ладно, Вань, — не выдержала Варя. — Решать все равно тебе. Только не бросай то, что тебе нравится, просто потому, что у кого-то не получилось.

Потом подумала еще и добавила.

— Дядь-Миша стал инженером, когда это было модно и почетно, он просто не ожидал, что столкнется с трудностями. А ты о них заранее знаешь. Сразу идешь по самому трудному пути. Может, доживешь до времени, когда спиваться начнут юристы и экономисты, а ты будешь на своем месте — всеми любимый и уважаемый.

И засмеялась, как будто это была всего лишь глупая шутка. Но что-то Ване подсказывало: так и есть. Так бывает. Так может случиться с каждым.

\* \* \*

Вот киоск «Мороженое» на углу. Там пломбир, и эскимо, и ланч, и фруктовый лед, и вафельный стаканчик, и крем-брюле, и почему-то «Московский картофель» с красивой девочкой на коричневой упаковке. Девочка нравится, нравится ее прическа и ободок, а картошку Оля не любит. Скажем, ей нравится вкус. Не нравится ощущение грязных рук. Оля постоянно чувствует себя грязной. Ходит в старой грязной одежде, на лоб ей падает грязная непослушная челка. У Оли есть жилье, ванная есть. Она часто моется, но все равно чувствует себя грязной и не может избавиться от этого ощущения. Поэтому и другим кажется грязной. Многие думают, что она бездомная. Но сегодня Оля не хочет об этом думать (думать ей вообще сложно): она нашла у себя несколько бумажек и монет. Что-то похожее на счастье, наверное. Можно купить мороженое.

Оля вглядывалась в цены. Считала нули. Пыталась удержать цифры в голове. Потом переводила взгляд на ладонь, где лежало несколько купюр и монет. Пересчитывала. Не сходило. Пересчитывала снова — и каждый раз у нее выходила разная сумма, но все равно меньшая, чем написано на ценнике. Один раз Оля насчитала почти нужное количество цифр и нулей и почему-то обрадовалась, хотя мороженое ей бы все равно не продали, даже если бы не хватило жалких десяти рублей. Может быть, пришло ей в голову, она каждый раз смотрит на другой ценник? Это было слишком сложно. Оля

вспотела под толстой шерстяной кофтой, которую носила в любую погоду, потому что боялась потерять.

Оля прошла вдоль дома в сторону троллейбусной остановки. По широкой улице неслись трамваи, машины, по тротуару спешили прохожие. Мимо Оли пронеслась девочка на велосипеде, знакомая, из их двора. Наверное, едет в сквер или в парк. Оля стала думать о парке, о деревьях, о прудах — и забыла о мороженом. Вошла во двор через арку и сразу попала в темноту, тишину и прохладу с громяющей солнечной улицы. Села на лавочку у подъезда. Оля иногда забывала, какой у нее подъезд, и садилась во дворе на любую лавочку, ждала, пока мама придет и заберет ее. Иногда не дожидалась и все-таки вспоминала сама. Иногда даже вспоминала, что мама давно умерла, и за ней приглядывает тетя. Иногда Оля умела собраться, хотя это было очень тяжело. Обычно мысли плохо ей подчинялись — они разбредались по голове, как экскурсионная группа, которой объявили свободное время. Вот только что они стояли все вместе и внимательно слушали, а тут — раз — и разошлись в разные стороны, кто куда. Уже и не знаешь, где кого искать.

К Оле подошла маленькая девочка.

— Привет! — весело сказала она.

Оля кивнула, глупо улыбаясь. Она была так счастлива, и не могла придумать, что сказать. Тогда она, разжав потные пальцы, протянула девочке деньги.

Девочка удивилась, но быстро и ловко пересчитала деньги прямо у Оли на ладони.

— Здесь полторы тысячи рублей. У меня тоже есть деньги. Хочешь, купим мороженое? — Обрадовалась вдруг, как будто угадала Олины желания.

Оля радостно закивала и встала со скамейки. Вместе они дошли до киоска. Девочка взглянула на цены, еще раз пересчитала деньги, добавив к Олиным свои, и купила два стаканчика с ванильным мороженым. Отойдя от окошка, она протянула Оле стаканчик и деревянную палочку. Оля вспомнила, что девочку зовут Лена.

Лена липла к Оле чуть ли ни с рождения, всегда подходила, здоровалась, дарила какие-то мелкие сувениры. Однажды даже привела к себе домой — они сидели на кухне и пили березовый сок из трехлитровой банки. Лена была мала, чтобы поднимать такую тяжесть, и Оля разливала сок, напряженно сосредоточившись, что-



бы не пролить на скатерть или на пол. Все равно вся кухня была в сладких лужицах. Оля разговорилась тогда. Ей вообще-то нелегко выражать свои мысли, но с Леной она чувствовала себя свободно, как будто та читала внутри ее головы, и не надо было бояться выбрать не то слово или запутаться внутри предложения, перескочив с мысли на мысль. Как будто Лене было важнее, что, а не как она говорит, — таких людей Оля почти не встречала. Даже среди детей. И все было чудесно, пока не пришла с работы Ленина мама. Она накричала на дочь и выгнала Олю взащей, предварительно обшарив карманы кофты. В карманах лежали порванные бусы и засохший кленовый лист — все это мама вывернула и выкинула, как будто это не имело никакой ценности. Оля видела, что Лена еле сдерживает слезы, и сама расплакалась уже на лестнице. Потом долго сидела в темноте на какой-то лавочке и ждала маму. Тогда еще маму? Может быть. Мама нашла ее очень поздно, накричала и увела домой. Оказалось, Лена жила в другом доме, через дорогу, и Олиной маме пришлось обойти все соседние дворы. Но Лена так часто бывала у них во дворе — откуда Оле было знать, что она не здесь живет? В тот день Оля оказалась со всех сторон виновата. Чтобы не думать об этом, она позволила мыслям снова рассеяться, разбрестись, и еще долго не приходила в себя. Кажется, пару раз она возвращалась в сознание — и обнаруживала, что лежит в больнице. Потом снова оказалась дома, и теперь ей приходилось два раза в день принимать таблетки.

Как приятно снова встретить Лену. Конечно, они больше не смогут вместе пить на кухне березовый сок, но идти вот так, брести по улице и есть мороженое — тоже счастье. Счастливые моменты Оля запоминала очень хорошо.

\* \* \*

Варя доехала до своего тайника в Лефортовском парке, прислонилась велик к дереву и села рядом. Сюда не доходили отдыхающие — слишком далеко от основных тропинок, ни одной лавочки, только вечно цветущий пруд, пахнущий болотом. Видимо, те, кто чистит пруды в парке, сюда тоже не добирались. Устроившись поудобнее, Варя достала из рюкзака свой блокнот и сделала очередную запись:

*«Кажется, раньше жизнь была просторнее, как большая комната с огромными окнами до потолка. В ней было больше места, больше света и воздуха. Больше необъяснимого, случайного счастья. Бабушка, мне так тебя не хватает».*

Подумала немного и написала еще:

*«Должна тебе сказать, что мы начали общаться с братом. Он тебя не любил, я знаю. Но он не такой плохой. Просто у него есть секрет, который невозможно никому открыть и очень трудно прятать в себе. Этот секрет, как волшебный эликсир, делает его совсем другим человеком — мечтательным и тихим, и вовсе не грубым. Бабушка, если ты нас видишь и слышишь, пожалуйста, помоги Ване найти способ стать тем, кем он хочет быть».*

О папе Варя решила больше ничего не писать.

\* \* \*

Варя лихо завернула во двор, рыбкой проскользнув в узкую щель калитки. Двор их огромного одиннадцатиподъездного дома был с двух сторон закрыт красивыми чугунными воротами с калитками для пешеходов, а с улицы его прорезали две высокие арки, всегда наполненные холодом и эхом. Проезжая мимо дворницкой, Варя наткнулась сразу на два интересных явления — Ваню, возвращавшегося со своего физического кружка, и эффектную молодую женщину, выходящую из двери дворницкой. Варя тихо подъехала к Ване сзади и спросила:

— Это кто?

— Черт, Варум, я чуть не умер. — Он оглядел женщину внимательным взглядом уже не мальчика, но мужа. — Это, говорят, новая жена дворника.

— Жена дядь-Коли?! Да ты бредишь!

С тем, что дворник дядя Коля вместо того, чтобы мести двор метлой летом и скрести его железной лопатой зимой, вечно вылезает с мольбертом или пишет, не вылезая из своей крохотной полуподвальной коморки, все давно смирились. Чудак-человек, художник. Дворником он стал потому, что за это выделялась комнатка в подвале, и дядя Коля, еще молодой и видный мужчина, сбегал из своей квартиры, населенной деспотичной мамой, опостылевшей женой, а также раз-

веденной сестрой с тремя племянниками. Получив в свое распоряжение дворницкую, дядя Коля тут же превратил ее в студию и стал лихо-радочно писать. Ничего, кроме живописи, его не интересовало. Даже женщины (особенно учитывая уже имевшийся негативный опыт). И тут из его скромного жилища выходит, что говорить, красавица-блондинка (впрочем, крашенная) и оказывается его новой женой?

— А слухи уже какие-нибудь появились? — Все-таки Варя была настоящей Варварой и каждый раз сгорала от любопытства.

Ваня с удовольствием рассказал все, что успел узнать.

— Они вместе учились на худграфе, потом долго не виделись. Она тоже уже была замужем. А тут встретились и — вот. Только она больше не рисует, стала писательницей.

— Господи, мама бы сейчас спросила — а жить они на что собираются?

— На зарплату дворника?

— Это дядь-Коля может жить на зарплату дворника, ему же ни черта не надо, кроме красок и холстов. Он не ест и носит одно и то же пальто круглый год, даже летом. А на что собирается жить эта шикарная женщина?

Ваня пожал плечами.

\* \* \*

Анечка всегда была хорошей девочкой. Училась на пятерки, ни с кем не ссорилась, не обрушивала ни на чью голову неприглядную правду. Любила всем нравиться. В школе лавировала между благосклонным вниманием учителей и теплыми отношениями с одноклассниками. До какого-то возраста эта тактика работала — она действительно всем нравилась и со всеми дружила. Но когда пришла пора влюбляться в мужчин посерьезнее школьных мальчишек, оказалось, что просто быть хорошей и хорошенькой — недостаточно. Надо быть интересной. Тогда Анин характер начал меняться в сторону скрытой стервозности. Первое впечатление от симпатичной милой девушки было прежним — нежная, приятная, тихая, никакая. На это клевали молодые люди определенного типа — таким хотелось домохозяйку и заботливую жену. Немного погодя выяснялось, что Анечка не только тихая и нежная, но к тому же зло-

памятная и, если надо, умеет закатывать истерики, бить посуду и среди ночи уезжать к маме. С однокурсником Колей она прожила лет пять, потом нервы сдали у обоих. После этого Коля женился на Аниной противоположности, Аня вышла замуж за кого-то крайне непохожего на Колю. Еще через десять лет они снова встретились: Коля работал дворником и запойно рисовал, Аня перестала быть милой, но стала спокойнее, рисовать бросила совсем, но начала писать книги. Эротические романы. Так и оказалась Аня в большом московском дворе, за чистоту которого спустя рукава отвечал художник дядь-Коля.

Анечка выросла в центре Москвы и считала Лефортово дырой. Так и пеняла Коле: «Как ты можешь жить в этой дыре?» Мечтала уехать обратно в старый дом на Покровке, в котором провела детство, впрочем, ругала и его, мол, все испортилось, все изменилось. Москва, говорила она, уже не та, что прежде. Но покорно жила в дворницкой, в подвале длинного сталинского дома «в этой дыре», потому что квартиру на Покровке давно занимали другие люди, и жить коренной москвичке Анечке было негде.

Было понятно, что и в этот раз Аня и Коля долго вместе не проживут. Коле жена была нужна как медузе зонтик, а Аня находилась в активном поиске мужчины с квартирой получше (и лучше в центре). Расписаны они не были, так что врать о том, что она не замужем, Ане не приходилось.

— Что смотрите, детишки? — грубо бросила Анечка двум подросткам, пристально ее разглядывавшим и перешептывавшимся. — Я жена вашего Коли. Дворника.

— Художника, — поправил Ваня.

Не было никакого резона ни доказывать что-либо этим чертям (она любила слово «черти»), ни тем более пытаться им понравиться. Поэтому Анечка злобно посмотрела на них, сплюнула и ушла.

\* \* \*

— Почему ты так ненавидел бабушку? — спросила Варя, не удержавшись. Ее всегда мучил этот вопрос — темное жгучее отвращение, которое Ваня испытывал к обожаемой ею бабушке, почти не выходило за рамки его лица, но в жестах, в привычке сторониться объ-

тий, на которые та была щедра, сквозило, скользило и прорывалось, словно резкий запах, залетающий с улицы в щелочку окна.

Теперь они разговаривали, иногда даже по душам. Ваня стремительно менялся, внешне оставаясь прежним, поэтому суть перемен — губительную для будущей карьеры юриста — еще не обнаружила их вечно занятая мама. Варя же знала уже обо всем: о том, что Ваня хочет стать инженером, что он не на шутку увлечен космосом, что собирает вырезки из журналов с героями фильма «Вавилон-5» и что вообще не собирается поступать на юридический. Уже месяц он не появлялся на подготовительных курсах, зато приходил иногда к соседу дяде Мише-алкоголику, покупал ему выпивку и заставлял рассказывать о Бауманке, ракетах и спутниках. Подтягивал втихаря физику и математику (которые и так ему всегда давались легко).

Ваня долго молчал. Варя терпеливо ждала. Ваня молчал. Она поняла, что он не хочет — ему очень трудно — ответить.

— Почему? Мне ты можешь сказать. Должен сказать, — напирала она.  
— Нууу...

\* \* \*

Ненаписанный дневник дяди Миши-алкоголика:

*«Я понял — невозможно верить в космос, если не веришь в людей. Я совсем больше не могу верить в людей. Как нам вообще удалось выйти в космос? Мы просто мусор, кошмарный сон Земли. Не только не верю в людей, но и людям не верю. Потому что сам обманывал и упивался своим ясным разумом, своим превосходством. Всегда знал, что буду великим. Жил и носил в себе столько желаний, сил, внутри все бурлило, я чувствовал движение жизни. А спустя пятнадцать лет просыпаешься и находишь себя в шкуре дворового пьяницы, безобидного и бесполезного».*

*«Стоит лишь поверить в себя, в правильность выбранного пути, увидеть в воображении, как из тысяч точек складывается то будущее, о котором мечтал, как кто-то невидимой рукой стирает изображение и дает тебе под дых. И однажды ты уже не в силах подняться, оправиться и идти дальше. Наверное, на это способны только люди, заранее смирившиеся с поражением».*

«Может быть, космоса вовсе нет. Звезды — дырочки в крыше над нами, а мы закупорены в жестяной банке со всеми этими глупостями, которые существуют только у нас в голове».

«Люди осуждают и презирают, но даже не представляют себе, какой ужас ты переживаешь ежедневно. Они прячутся за свою благопристойность, изгоняют из памяти несоответствующие случаи — главное, чтобы о них не знал никто важный. И ведь я тоже, тоже вел себя так. Был таким».

«Забавно, что самые смелые попытки изменить жизнь и найти в ней свое место считаются проявлением дурости, если не психопатии. Внезапно бросить опостылевшую работу, разорвать ставшие обузой отношения, кардинально переменить образ жизни — все это считается “детским садом” и неприличным проявлением эмоций, необдуманными поступками, даже почему-то трусостью. Смело и прилично тянуть ляжку до конца, никого не огорчать внезапными и непонятными решениями, жить незаметно и осторожно, идти мимо собственных желаний, не взлетать, не опускаться на дно, ни в коем случае не позволять себе быть свободным. Я думал, что буду великим, что смогу сделать что-то важное, продолжить путь человечества в космос. Но время сейчас не то — мы отвернулись от звезд, нас влечет иной блеск — деньги, земная бездарная слава, тщета сиюминутности. И я опускаюсь на самое дно. Если я не могу двигаться вперед и вверх, если я ошибся веком, если космос забыт, я, по крайней мере, хочу быть свободным. Как слабоумная Оля, как дворняга Машка. Я буду всю оставшуюся жизнь работать в никчемной фирмочке бесполезным инженером и всю свою мизерную зарплатку пропивать, сидя на лавочке у своего подъезда».

«Плохо только одно — упав на самое дно, ты больше никому не нужен. Ты непредсказуем и ущербен, тебя перестают узнавать сначала знакомые, потом близкие, потом и ты сам себя не узнаешь. Смысл остается только в выпивке, к ней сходятся все мысли, к ней стремятся надежды и мечты. Какая жалкая замена космосу, звездам и кораблям, открывающим новые планеты... Надо выпить».

«Так постепенно закрывается дверь в будущее и остается лишь тусклый коридор и шаркающие шаги. Когда сделан выбор, все решения приняты, когда из тумана планов и смутных желаний появляется слово, которым можешь назвать себя. Одним

словом. Другого нет. Разве достаточно человеку одного слова? Но вот оно выбрано — одно емкое и простое определение. Отец. Семьянин. Инженер. Оно похоже на клетку. На коридор с шаркающими шагами — этот звук наполнял мое детство, юность. Пока мама не умерла. Я не любил ее. Она мной гордилась, но ее любви я не чувствовал. Наверное, в нашей природе опаздывать с чувствами — она стала любить меня, когда состарилась, когда я перестал быть гордостью семьи. Стал жалким неудачником. Она так любила меня, как будто я был лучшим человеком на Земле. А я был худшим. Она снится мне иногда, и я просыпаюсь с чудовищным чувством вины. С чувством огромной потери и с неизвестно откуда явившейся так поздно любовью, которой никогда не испытывал при ее жизни. И вот теперь моя жизнь — лишь коридор с шаркающими шагами моей умершей матери. И одно слово — пьяница. Когда-то я искал иного слова — хотел стать ученым, инженером, гением. Оказалось, что это невозможно, если не умеешь любить, а я не умел. Теперь научился, с таким непростительным опозданием. Меня терзает вина и любовь, которую я не могу выразить. Мама мертва и не знает о том, что я люблю ее. Теперь. Люблю».

«Как будто во мне сидит демон, и я не могу не пить. Если не пью — такое отчаяние внутри, такая тоска. Алкоголик на почве тоски».

\* \* \*

— Она плохо пахла.

— Что? Кто?

— Бабушка. Мне не нравился ее запах.

Варя встала, потом села.

— Прогуляемся? — Как будто предыдущих фраз еще не было сказано. Варя кивнула и сунула ноги в кроссовки.

Они вышли во двор и молча прошли его насквозь. Вышли через заднюю калитку в сквер — Варин любимый велосипедный маршрут. Так странно было идти здесь пешком. Все так же в молчании сели в сквере на ближайшую свободную лавочку. Вечерело, родители с детьми расходились. Баба-Зина из дома через дорогу кормила голубей. На лавочке напротив, через клумбу со свежевывсаженными

тюльпанами и нарциссами, сидела пожилая пара, молча, как будто отстраненно — но они казались единым целым, было сложно представить их поодиночке.

— Тебе не нравился запах. — Спокойно, как будто уйдя глубоко в свои мысли, повторила Варя.

— Варум, ты пойми, я же не специально. Я не догадывался, что она умрет и мне будет ее не хватать. Я вообще не знал толком, что люди умирают. Ну, то есть, что умирают, знал, конечно, но не думал, что это относится к своим, привычным людям. К бабушке.

— Ну да. Понимаю. — Варя кивала и правда понимала, но выглядела и чувствовала себя безутешной.

Ваня помолчал, а потом заговорил о другом.

— Я вчера наткнулся на маму поздно ночью. Ты, наверное, десятый сон уже видела. Дядь-Саша уехал.

Варя встрепенулась.

— Уехал?

— Ага. Они расстались. Мама снова одна. Она была вчера очень пьяная, сидела на кухне и плакала. Говорила о браке, о том, что надо быть зависимыми друг от друга. Тогда лучше ценишь свободу. И отношения. И еще какую-то такую же чушь. Что Саша был свободен и чувствовал себя ненужным. Но ей очень хотелось равных отношений, потому что с папой она чувствовала себя вечной школьницей.

— Так и сказала — «школьницей»?

— Ага, школьницей.

— Сложно поверить. Хотя...

— Ты продолжаешь общаться с отцом?

— Знаешь, мне больше не хочется. Не из-за тетя-Инны и не из-за Тони, как раньше. Из-за него самого... Только жаль Зойку.

— Ага. Жаль.

Баба-Зина перестала кормить голубей, убрала в сумку пустой целлофановый пакет и подошла к ним. Они были рады отвлечься. Поговорили о погоде, о школе, о Ванином поступлении. Ваня вдруг сказал ей, что передумал поступать на юрфак и пойдет в МАИ на авиакосмический факультет. Баба-Зина заулыбалась и сказала, что он молодец, получит настоящую профессию. Когда она ушла, Варя спросила:

— Разве это не секрет?

— Какой секрет?



— Что ты не идешь на юридический?

Ваня улыбнулся.

— Больше нет. Я вчера сказал маме.

— А она что?

— А, говорит, поступай, куда хочешь. Я, говорит, уже не так уверена, что правильно, а что нет.

Варя пристально посмотрела на Ваню.

— А она сильно пьяная была?

— Изрядно.

— Думаешь, запомнила?

— Да неважно. — Ваня беспечно закинул руки за шею и вытянул ноги. — Сегодня еще раз ей об этом скажу. Может, она не запомнила, но что ей все равно, точно правду сказала.

— Угу. Слушай, Вань. А дядь-Миша?

— Что дядь-Миша? — не понял Ваня.

— Дядь-Миша разве хорошо пахнет?

— Ужасно, — Ваня поморщился. — Гораздо хуже бабушки.

— А чем бабушка пахла? Я никогда не замечала.

— Старостью, что ли... Не знаю. Однажды она пришла ко мне в комнату и давай разговаривать, спрашивать о чем-то. А я чую этот запах и даже сосредоточиться не могу. Начал отговариваться, что не в настроении с ней разговаривать. Она и спросила в лоб — за что ты меня так? Не любишь? А я взял и признался. Она говорит: вот моя рука, понюхай. Я ведь из душа только что, чистая. Я понюхал ее большой палец, и меня чуть не стошнило. Пахло горько и тухло как-то. Не знаю чем.

Варя молчала, глядя в одну точку.

— А дядь-Миша пахнет грязной одеждой и перегаром. В разных пропорциях. Почему-то не так противно.

Варя кивнула. Ей было горько, но слов не было. Она смотрела на стариков напротив и вдруг вспомнила еще одну пожилую пару.

— А помнишь двух старичков, они всегда ходили вместе? Она в кудряшках, а он белый-белый, ни намек на лысину, и очень-очень старый. Я еще думала, что когда смотрю на них, не боюсь ни жить, ни умирать.

— Да рано тебе еще умирать.

— Да и жить рано, судя по всему! Куда же они делись? Совсем их не видно.

— Сvezли на кладбище одного за другим. Она после него всего год прожила, говорят, никого даже не узнавала.

— Откуда ты знаешь? Ты же весь в своей тайной алфизике!

— Слушаю, что люди говорят. А ты вынимай иногда плеер из ушей — тоже, глядишь, слышать начнешь, что происходит.

Мимо прошла толстая женщина в спортивном костюме.

— А вот дочь их. Тех стариков.

— Неприятная какая.

\* \* \*

Он был таким тихим и жил так неслышно, что когда его увезли в больницу, никто этого даже не заметил. Шаркали по коридору бабушкины шаги. Капала вода из крана на кухне. Звенел под окнами трамвай. Исчезло лишь редкое покашливание, прекратились и без того редкие встречи в коридоре. Дед всегда говорил очень мало, почти не выходил из комнаты, разве что в ванную да в туалет. Обед бабушка накрывала им в комнате — резала хлеб, солила суп, забывая, что он посолен, рассказывала деду что-то, от чего он вдруг улыбался. Он ел пересоленный суп, заедал хлебом и не позволял себе ни одного упрека в ее адрес. Он любил ее, хоть они и прожили вместе уже целую вечность, и теперь она все забывает, стала ужасно готовить, седые волосы стрижены под машинку. Только взгляд тот же — волевой, тяжелый, но с хитрецей. Она умела рассказывать истории, умела шутить, умела и задеть за живое. Только теперь она все реже запоминала настоящее — как ходила в магазин, как ездила на их любимую дачу, где все было сделано его руками, как приносила с почты журналы для него — он любил читать. Настоящее исчезало. Все чаще их обеды проходили в молчании. Но она держалась за него и ради него. Старалась иногда припомнить хоть что-то — какую-то деталь, как падал свет, лицо продавщицы в овощном отделе. Тогда он улыбался и брал ее морщинистую ладонь в свою.

Ее не любили внуки. Сын старшей дочери вырос красивым нахалом без сердца, так ей казалось. Хотя он читал книги и слушал музыку, учился на биолога, притаскивал в дом котов и старался быть добрым. Не получалось — коты сбегали каждые два года, предпочтя уличную свободу духоте этого дома, книги питали ум, а не серд-

це, даже музыка не шла впрок. Когда у бабушки начались проблемы с памятью, он начал звать ее «крэйзи-хаус» — сначала за глаза, а потом в лицо. Как будто лишившись настоящего, она лишилась ума и не могла понимать оскорбительной шутки. Но она понимала, она учила английский когда-то. Понимала и плакала тихонько, пока дед не видит.

Внучка Сашенька была по-настоящему доброй, и ее нелюбовь была страшнее и обиднее. Саша любила родителей отца, живших в другом городе. Их она видела нечасто, приезжала оттуда, задаренная подарками, долго и тяжело скучала, пока школьные переживания не отвлекали ее. Иногда, когда сознание возвращалось, бабушка размышляла об этом — о том, что проще любить далеких и хороших, чем тех, кто рядом и не слишком хорош. Ей казалось, что внучка повзрослеет и однажды полюбит ее, ей хотелось до этого дожить, но настоящее ускользало, бабушка все чаще путала внучку с дочерью, забывала годы и десятилетия.

Хуже всего было с дочерьми Ирой и Леной и их мужьями. От них любви нечего было и ждать — их с дедом воспринимали как обузу, как несчастье, как тяжкий груз. С нетерпением ждали, когда же освободиться такая большая и светлая комната с балконом. Дедушка с бабушкой жили здесь, как чужие, как призраки, медленно и неловко бродили по длинному коридору, забредали на кухню, занимали ванную и туалет. Бабушка старательно мыла посуду — ей казалось, что этим можно заслужить прощение. Она чувствовала вину за долгую жизнь, за плохую память, за неопрятный вид — одежда в дырках и заплатках, сальные седые волосы свисают на лоб. У нее не было уже сил заботиться о себе, как раньше. Не было времени — время ускользало куда-то, исчезало, она просыпалась то летом, то зимой, встречала в коридоре то юную дочку, то взрослую дочь, то незнакомого выросшего юношу, который оказывался ее внуком. Годы смешивались, кружили ей голову. Часто хотелось присесть и остановить кружение. Единственной опорой оставался дед — он приносил ей подушку и плед, водил в парикмахерскую, когда волосы отрастали, напоминал, что она уже солила суп. Глядя на него, она чувствовала, что время возвращается и снова становится прямым, идущим из прошлого в будущее.

Но вот его увезли в больницу, и никто не заметил исчезновения. Кроме нее. Она держалась, как могла, — готовила суп и резала хлеб

на двоих, напоминала себе имена и возраст внуков, держалась, как за страховочный трос, за воспоминание о его улыбке. Но из больницы дед так и не вышел — умер.

Она продолжала одиноко шаркать по коридору, заходила к внучке в надежде, что сможет поговорить о чем-то важном, только каждый раз забывала о чем. Теперь бабушка звала ее только Ирочкой, но еще вспоминала иногда, что это не дочь, а внучка. В ней единственной она чувствовала тепло и доброту. Сашенька очень старалась быть ласковой, хотя неприязнь к бабушке не исчезала. Когда и бабушку забрали в больницу, к стыду своему, Саша почувствовала облегчение.

Бабушку забрали совсем не в такую больницу, в какой умирал дедушка. Бабушка была здоровой — ее сердце работало без перебоев, ни болей, ни слабостей, ни единой болезни к восьмидесяти годам. Единственное, с чем было совсем плохо, — это память. Дочери и их мужья изводились ее присутствием, ее готовкой с тяжелыми запахами, их раздражали ее шаркающие шаги в коридоре, ее морщинистое лицо и то, что она всех путала. Олег уже вырос и хотел жить в отдельной комнате. Он поступил в институт и ухаживал за девушкой из параллельной группы. Все понимали, что бабушка будет жить еще очень долго — так же шаркать по коридору, не помня ничего из последних лет. Да, они знали, что бывает хуже — агрессия, голоса, паранойя. Но не радовались этому — тихая бабушка не давала поводов избавиться от нее, не запачкав совесть.

Однажды она пропала. Ира, младшая дочь, поместила объявление в газеты. Лена отговаривала ее — пропала, и слава богу! У Иры екало сердце и ужасом заливало глаза — она вспоминала маму и папу в молодости, их поездки на юг, их любимую дачу, свой первый велосипед, и как они с мамой спали в одной кровати, когда ездили в деревню к знакомым, и солнечные блики из-за рваных кружевных занавесок. Ира искала, обращалась в милицию и в больницы, не обращая внимания на ворчание сестры и племянника. И нашла.

Бабушка оказалась в психиатрической больнице. Через неделю ее выписали. Олег, привыкший к ее отсутствию, шипел и возмущался, но и бабушка сильно изменилась. Чем дальше во времени она удалялась от точки, в которой еще был жив дедушка, тем сильнее сдавала. Прошлое окутывало ярким светом сны и реальность — как они познакомились, как сложно было начинать жить вместе, как, оби-

женные, они долго молчали и, ложась спать, отворачивались друг от друга. Но все проходило, и они снова разговаривали за обедом, радовались, как растут дочки. Настоящее врывалось мучительно и резко — «крэйзи-хаус», шипел на нее внук, старшая дочь выливалась в унитаз готовый суп, внучка пряталась обратно в комнату, заведя бабушку в коридоре. В настоящем не осталось времени, и все заполнилось жутким серым одиночеством, и только прошлое светило где-то глубоко внутри.

Бабушка сдалась, она больше не держалась за жизнь. Она бродила по коридорам прошлого, и только шаркающий шаг отдавался в настоящем. Наконец, ее смогли положить в больницу надолго. Там она кричала и вырывалась, и пыталась сбежать — потому что ей хотелось вернуться в прошлое, а прошлое было в их светлой большой комнате, в звуке трамвая под окном, в капающем кране на кухне, прошлое было там, где продолжали жить их с дедом никому не нужные призраки.

Скоро Олег обживал комнату — ездил за новой мебелью, выбрасывал стариковский хлам.

III. ИЮНЬ.

*Наша плата — это мы когда-то,  
Дней неустойчивых колесо,  
И плита последнего заката,  
Но и это, может быть, не всё.*

*Игорь Лебедев*

\* \* \*

Дядя Саша уехал еще до конца мая. На Ванин выпускной он не пришел. Мама попросила сына вести себя прилично и ушла сразу после торжественной части. Ваня действительно был осторожен и вернулся домой в одиннадцать. От него пахло летом и — сладко — шампанским. На следующий день они с мамой долго о чем-то говорили. Варя брат ничего не сказала, но она знала, что речь о МАИ и о том, что Ваня не хочет быть юристом. Потом оказалось, что все еще сложнее: мама действительно одобрила Ванин выбор, извинилась за то, что давила на него, и добавила уже им обоим, созвав на кухне семейный совет:

— Я ухожу из бизнеса. Больше не хочу быть бухгалтером. Будьте готовы к тому, что денег станет немного. Поэтому, Ваня, ты должен поступить на бесплатное. Варя, будь и ты готова к этому через два года.

— А кем ты будешь работать?

— Есть неплохое место в частной галерее. Зарплата нормальная. Но не такая высокая, как у бухгалтера.

— Галерее? Кем же ты будешь там работать, если не бухгалтером?

— Смотрителем, консультантом, если понадобится, и продавцом...

— Мапочка, — заныла ошалевшая Варя, — мамочка, ты разве разбираешься в искусстве?

Мама посмотрела на нее с удивлением.

— Конечно. Я же всю жизнь писала об искусстве. Пока не стала бухгалтером.

\* \* \*

Деда Шура неторопливо выходит из их с бабушкой комнаты и направляется в туалет. Проходя мимо ванной, видит прищипленную к выключателю бумажку с надписью большими кривыми буквами: «НЕ

ВКЛЮЧАТЬ. ИДЕТ ПРОЯВКА». Вздохнув, деда запирается в туалете минут на сорок — привычка, которую ненавидит Слава, муж Сони.

Слава выходит из их с Соней комнаты и видит, что заняты и ванная, и туалет. Ругаясь сквозь зубы, он идет на кухню, открывает холодильник и достает оттуда бутылку водки. Собирается налить в стакан, но тут дверь ванной открывается и из подсвеченной красным глазом темноты, жмурясь, выползает Соня. Слава успевает убрать водку обратно и сделать вид, что полез за колбасой.

— Проголодался? — спрашивает отчего-то счастливая Соня. — Я сейчас приготовлю обед.

Зажигает конфорку, ставит на нее сковородку и снова исчезает в ванной. Слава делает себе огромный бутерброд с колбасой, опять достает водку и делает большой глоток прямо из горла. Убирает водку и закусывает бутербродом. Сковородка мирно поджаривается на огне — забытая и пустая. Слава выключает газ и уходит с кухни, краем глаза подмечая, как Соня развешивает в ванной фотографии. Минут через двадцать из туалета, кряхтя, вылезает довольный деда Шура и уносит свое большое тело обратно в комнату.

Когда Соня возвращается из своего творческого подземелья, у Славы уже изрядно испорчено настроение. На улице давно темно, Варя кричит и колотит по воздуху маленькими кулачками — ей хочется есть, или спать, или что там еще — Слава обнаруживает, что ему все равно. Семилетний Ваня сидит в детской, его не видно и не слышно. Что нехарактерно ни для его возраста, ни для характера. Пока родители бурно ссорятся у себя, он вырезает картинки из маминих журналов и не очень аккуратно наклеивает в какую-то тетрадку, сооружая из чужих образов свои собственные. Предпочтения он отдает ракетам, паровозам и самолетам.

В этот раз ссора заканчивается ультиматумом, кардинально меняющим Сонину жизнь. Она бросает журналистику и идет на курсы бухгалтеров, потому что Слава (который уже давным-давно не пишет стихов, а вместо этого продвигается по карьерной лестнице в солидном издательском доме) говорит ей, что она (презрительно) — художник, занимается (с пренебрежением опрокидывая коробку с фотографиями) ерундой и вообще (выбрасывая в окно последний номер журнала «Искусство», в котором вышла Сонина статья о выставке акварелей) надо быть ближе к семье и детям. Слава все делает немного театрально. К тому же Соня еще не знает, что он уже поды-

скал себе подходящую женщину — одинокую, с ребенком от первого брака, с отдельной квартирой и богатым папой. Что собирается, может быть, уйти к ней совсем, а пока просто мило ухаживает и иногда остается на ночь (мама думает, что он ночует у своего коллеги Чеснокова — преданный папе Чесноков не забывает при встрече подтвердить эту версию).

Однажды, через несколько лет, в конторе, сводя дебет с кредитом, бухгалтер Софья Александровна обнаруживает, что ее мысли заняты совсем другим. Она вспоминает крымский берег и красивого молодого поэта Ярослава. Вот они медленно бредут по набережной, заходят в пустую, но открытую кафешку (уже очень поздно, если не сказать рано) и выпивают по бокалу сладкого, темного и густого, как эта звездная ночь, хереса. И Соня думает, что это самый счастливый момент в ее жизни, но от этого почему-то становится грустно, и она гонит эту мысль прочь. Вслушивается в стихи, которые читает Ярослав, смотрит на ряды бутылок за его спиной и думает уверенно — будут еще счастливые моменты, целые дни, непрожитые пока ночи, впереди годы счастья, а это лишь начало, маленькая точка в начале пути. Он станет знаменитым поэтом, а она сама — конечно, фотографом. Спустя двенадцать лет она обнаруживает себя в скучной конторе бухгалтером, а свой брак на грани развала, проматывает пленку назад и вдруг понимает — так ясно, как только можно что-то понять — это и был самый. Самый. Счастливый. Момент.

\* \* \*

Дядя Миша сидел на лестнице, на Вариной любимой ступеньке с выщербинкой. Когда Варя поднималась пешком, она всегда ждала эту щербатую ступеньку посередине — последний пролет перед пятым этажом. Последний рывок перед тем, как оказаться дома. В пыли, тишине и покое старой сталинской квартиры. Но сейчас на щербатой ступеньке сидел пьяный сосед дядя Миша.

— Добрый день, — поздоровалась Варя.

— Привет, малявка, — еле ворочая языком, ответил он.

Она стояла, держась за велосипед, и чего-то ждала. Он начал снова впадать в дремоту, но вдруг понял краем сознания, что мешает ей



пройти. Попытался встать. До его квартиры осталось ступенек десять. Упал. Варя сказала:

— Не беспокойтесь, я проеду на лифте с четвертого.

И подумала — что за бред.

Дядя Миша снова встал и, не обращая на нее больше внимания, шатаясь, поднялся на этаж. Долго рылся в карманах, звеня мелочью. Она поднялась за ним, прислонила к стене велосипед. Посмотрела, как он вынул наконец ключи и стал примериваться к двери. Дернулась помочь. Передумала. Взялась за велик и повезла его тихонько к своей двери. Не оглядываясь. Стараясь не прислушиваться. Наконец, дверь позади хлопнула, и все затихло. Она достала свои ключи и вошла в квартиру. В сердце было тихо-тихо, ни одного чувства. Как будто, если появится хоть одна малюсенькая эмоция, они хлынут потоком и все сметут. Кажется, именно тогда она видела дядь-Мишу в последний раз.

\* \* \*

Вариной ойкуменой был ее район — те дороги, дворы и скверы, которые она могла изъездить на велосипеде. Если ей приходилось ехать куда-то на метро, она чувствовала себя потерянной и несчастной, и была как будто не совсем уверена в благополучном исходе — возвращении домой. Притихшая и словно бы озябшая, входила она в подземный переход, покупала жетончик и, мысленно прощаясь со своим миром, бросала его в прорезь турникета, чтобы шагнуть в неизвестность. Метро шумело, гудело, было темным и тесным. Оглушенная подкатившим, словно самоуверенный кавалер, поездом, Варя делала еще один шаг — и поезд уносил ее на другой конец Москвы, как волшебный портал. Вынырнув из-под земли где-нибудь в Сокольниках или даже на Бабушкинской (там обитали ее нешкольные друзья — школьных друзей у Вари не было), она вновь обретала чувство земли под ногами (а не над головой) и топала выученным однажды маршрутом туда, где ее ждали, стараясь не отклоняться от курса, поскольку местность за пределами этой узкой линии была ей совершенно, чудовищно незнакома.

Варя звонила снизу в домофон — это был такой дом, в котором был домофон, из-за чего блочная шестнадцатизэтажка чувствовала

себя важной персоной с важными жильцами. Раздавались хриплые гудки — в промежутках Варя слышала собственное стучащее бешено сердце. Потом смех и чуть ближе — голос хозяина квартиры. Потом — лифт, двенадцатый этаж, там уже ждут и двери распахнуты. Она заходит в квартиру, испуганная, молчаливая, снимает обувь, с волнением вслушивается в голоса, доносящиеся из комнаты — кто там сегодня? Что там сейчас?

Но как только оказывается там, внутри, уже ничего не боится, не стесняется и не чувствует себя чужой. Они обсуждают «Вавилон-5», долго скачивают из медленного Интернета новые картинки и «спойлеры» к следующим сериям, пересматривают записанные на кассетах уже вышедшие эпизоды и много говорят о космосе. В основном здесь парни, есть пара девчонок — и Варя. Все они, кроме Вари, друзья Коляна. А Колян — из того самого физического кружка, куда уже два месяца ходит Ваня. Ваня тоже здесь — он подмигивает Вале и просит ее сходить на кухню поставить чайник. Варя выходит из шумной комнаты и натывается на Коляна. Оба краснеют, но надеются, что в коридоре это незаметно — достаточно темно.

В комнате замолкают. Включили видео. Слышно, как говорит один из героев:

*«...Что за несчастное существо. Не можешь ответить на столь простой вопрос, не прибегая к штампам и ярлыкам... Разве сама ты ничто? Есть ли у тебя хоть что-нибудь свое, не принесенное извне? Как ты собираешься сражаться за других, если не имеешь ни малейшего представления, кто ты такая?»*

Варя проходит на кухню и ставит чайник. Здесь, в этой просторной кухне, из которой сейчас вынесли все стулья и табуретки, под звук закипающей воды она наконец-то чувствует себя по-настоящему дома и по-настоящему собой. Хотя наверняка тоже не смогла бы ответить на простой вопрос «кто ты?», не прибегая к штампам и ярлыкам.

\* \* \*

Летом здесь пыльно. Пыль скапливается у бордюров, сухой песок стелется по асфальтированным тропинкам, мутные столбики взвиваются на дорожках из гравия. На качелях давно облезла краска, на воротах футбольного поля сетка порвана, сколько себя помнишь —

будь тебе пятнадцать лет, или сорок, или семьдесят. Мяч влетает в ворота — гооооол! — а потом улетает прямо в мусорный бак, который стоит за воротами и за футбольным полем. Каждый раз. Вот почему ребята, которым достаются эти ворота, всегда защищаются изо всех сил — кому охота извлекать мяч из помоев. Каждый раз.

— А знаете эту бабку, которая все время роется в мусорке? Говорят, однажды она подошла как раз, когда у ребят улетел мяч, и пока они за ним бежали, бабка успела его найти, пожалеть, что кто-то выбросил такую хорошую вещь, и пойти уже к своему подъезду.

— Ого, и что?

— А то, что ребята ее нагнали, обступили и так галдели, что она выронила мяч и чуть не упала в обморок. Потом ее долго видно не было. Говорят, в больнице лежала. Да фиг бы с ней, главное, мяч вернули, пока она его в свою «сокровищницу» не унесла.

Варя слышала этот разговор, пока подкачивала шины, стоя у футбольного поля. Ребята собирались сыграть второй тайм, а пока отдыхали, трепались о том о сем. О той ли это старушке, которая когда-то хотела унести бабушкин стул, а ей помешала дочь (кажется, дочь)? Варю теперь казалось, что с марта, с того холодного дня, обжигающего лицо, безнадежно засыпающего все снегом, со дня, когда она не видела бабушкиной улыбки, а потом мама позвонила из больницы и сказала, что бабушки больше нет, казалось, что с этого дня прошло много лет. Казалось, что изменилось буквально все.

Варя села на велосипед и осторожно выехала из двора через калитку в черных чугунных воротах, переехала неширокую дорогу и въехала в сквер. Здесь давным-давно она осваивала маленький велосипед «Дружок» и страшно боялась, когда папа в первый раз открыл два серых маленьких колеса, державших велик вертикально. Но скоро ей стало понятно, что велосипед, с виду такой неустойчивый, на самом деле лишь — продолжение тела, и можно лететь с ним вперед, ничего не боясь.

И она летела дальше и ничего не боялась. Ваня всю готовился к поступлению в МАИ на аэрокосмический факультет. Брат наконец-то был счастлив, хоть и нервничал, что провалит экзамены, но он стал таким величавым, взрослым и настоящим. Больше не грубил и полюбил разговаривать с сестрой. Хотя и ревновал ее к своему другу Коляну. При мысли о Коляне у Вари что-то вспыхивало сначала в голове, потом в сердце. Сладенько и приятно. Она думала, что никто не дога-

дывается о ее новой симпатии, хотя вся компания перешептывалась и хихикала у них с Коляном за спиной. Впрочем, это пока было только начало, и что будет дальше, Варя было неизвестно. О себе Варя по-прежнему ничего не знала — кем хочет стать, есть ли у нее хоть один завалывающий талант. Зато она чувствовала, что научилась кое-как жить без бабушки и без отца, и оттого почувствовала себя сильнее.

Каждый раз, поднимаясь по лестнице на свой этаж, она гладила кроссовкой выщербинку на ступеньке перед пятым этажом, и в голове рождалась и умирала мысль, которой Варя не давала оформиться в завершенную пошлую формулировку. Легкий флер романтики шел от щербатого края, и Варя ловила и отпускала, как золотую рыбку, идею о выщербинке в каждом из нас, том изъяне, который делает нас нами. О том, что необязательно быть успешными или идеальными, чтобы хорошо прожить жизнь. Она снова думала о бабушке и даже о дедушке, которого почти не помнила. Думала о прожитых ими жизнях — в них не было денег, успеха или славы. Только любовь, верность и основательность. Их жизнь закончилась, но что-то осталось — здесь, в Лефортове, в этом пыльном воздухе, в щербатой ступеньке, ничего не значащей, незаметной, но полной тайного смысла для пятнадцатилетней девочки из пятого подъезда.

Моя-то жизнь только начинается, думала Варя, взлетая на велосипед и подхватывая ногами завертевшиеся от движения педали. Она больше не жалела о бабушке, она отпустила ее и вспоминала светло, без горечи — каждый день. Вдыхала зеленый, головокружительный запах лета, которое пришло как будто в первый раз в жизни. После мокрого снега, запоздалых морозов, апрельского ветра и еще не проснувшихся голых веток, недоверчиво пробующих на вкус теплый воздух — уже можно выпускать в мир первые слабые листочки или рано? Наконец они появляются, проходит несколько дней, и вдруг зиму словно перечеркивает: кричат птицы, кричат дети во дворе, ветер шумит свеженькими светло-зелеными кронами, играет на них, как на маракасах, проливается первый ливень, к асфальтовым берегам подступает алое, белое, цветное море свежесажённых тюльпанов. Ничего не было, и впереди ничего нет — только этот летний рай, сейчас, только сейчас, пока тепло, пока свежо, пока так беспричинно радостно.

Варя резко затормозила — у подъезда толпились люди, стояла скорая, шипели и свистели то ли возмущенные, то ли испуганные голоса.

— Сколько же ему было лет? — спросил кто-то, перекрывая нервно и громко шелест разрозненных фраз.

— Сорок два, — ответил голос Вариного брата.

— Иди отсюда, парень, рано тебе на мертвяков смотреть, — тут же отреагировал другой голос, бескомпромиссный и твердый.

— Такой молодой! — горестно и противно пропел кто-то, склонный к показному сочувствию.

Ваня увидел сестру. Вместе они молча зашли в подъезд. Варя вкатила по лестнице велосипед и остановилась у лифта. Никто не нажимал кнопку.

— Дядя Миша? — Кажется, Варя не смогла произнести это вслух.

— Он, — ответил брат, который все-таки ее расслышал.

